

Евгений Бадер



Кафе на углу
сингулярности

Книга 1

18+

Евгений Бадер

Кафе на углу сингулярности

«Автор»

2026

Бадер Е.

Кафе на углу сингулярности / Е. Бадер — «Автор», 2026

Книга — инициация. Шаманский панк с нежностью для тех, кто помнит запахи детства. Для молодых мам, которые ещё рассказывают сказки. Для старцев, которые уже поставили ногу на Путь. Для тех, кто устал нести, но несёт. Гностический соматизм как метод деконструкции реальности. Экономика, которая пахнет жареным луком. Метафизика, которая чавкает. История, которая однажды приснилась. Возможно, вам...

© Бадер Е., 2026

© Автор, 2026

Евгений Бадер

Кафе на углу сингулярности

ПРИГЛАШЕНИЕ К РАЗГОВОРУ

Прежде чем перевернуть страницу, остановись.

Эта книга — не развлечение. Не тот случай, когда можно читать в метро, заедая чипсами, и забыть к следующей станции.

Здесь нет героя, который спасёт мир. Здесь нет злодея, которого можно ненавидеть. Здесь нет любви, которая победит всё.

Зато здесь есть — понимание. А понимание, скажу тебе честно, это самая тяжёлая ноша. Потому что, поняв, ты уже не сможешь сделать вид, что не понял. А делать вид — это, между прочим, основа всей нормальной жизни.

Если ты ищешь, как убить вечер, — закрой книгу. Поставь её на полку. Пусть пылится. Может быть, через десять лет ты её откроешь снова. И тогда — возможно — будешь готов.

А если остался — позволь мне рассказать тебе, как эта книга пахнет. Не сюжет. Сюжет я тебе не расскажу, потому что сюжет здесь — как скелет: он есть, но ты его не видишь, пока не снимешь кожу. А снимать кожу с книги на первой странице — это, знаешь ли, негигиенично.

Я расскажу другое. Что ты будешь чувствовать. Не головой. Телом. Потому что эту книгу читают не глазами. Эту книгу читают носом, кожей, тем местом за грудиной, которое сжимается, когда кто-то говорит правду, а ты ещё не понял, что она правда.

Тебе будет пахнуть манной кашей. Той самой, с пенками, которую варят на кухне в шесть утра, и окно запотело, и кто-то помешивает ложкой, и ложка стучит о край кастрюли — тук, тук, тук, — и этот стук — единственный звук в мире.

Тебе будет смешно. До слёз. До того момента, когда ты хохочешь и вдруг понимаешь, что то, над чем ты хохочешь, — это не шутка. Это правда. Которую можно сказать только так. Потому что если сказать иначе — ты заплачешь.

Где-то в санузле будет хохотать старуха. Ей восемьдесят лет. Или тридцать два. Она не помнит. Она помнит только, что бабочки в животе превратились в спазм. И это было хорошо. Очень хорошо. И ты поймёшь, что духовное освобождение пахнет не ладаном.

Тебе будет слышен стук каблучков. Дробный. Частый. По доскам. И голос — молодой, звучный, баритон — будет орать: «Самолёт летел — колёса стёрлись!» А кто-то рядом перекрестится. Кто-то икнёт. Кто-то запустит алгоритм перебора версий. А тот, кто танцует, будет в пижамах. В шёлковой. С полоской пены на щеке. И ему будет всё равно. Потому что тело хочет танцевать. Семьдесят лет не хотело. А теперь — хочет.

И ещё. Тебе будет холодно. Не от ветра. От того, что кто-то приложит к твоей ладони монету, которая столетиями лежала в чужом кармане. Холодную. Тяжёлую. С привкусом чужих пальцев. И ты не сможешь её положить обратно. Потому что она уже твоя. И ты не захочешь. Потому что в этой монете — чья-то жизнь. Которая была до тебя. И будет после.

Эта книга будет противоречить сама себе. Будет пахнуть манной кашей, а потом — жжёным кремнием. Будет считать дебет с кредитом, а потом петь пассакалию. Если тебе покажется, что это ошибка — не торопись. Это не противоречие. Это жизнь. А жизнь неэффективна по определению. И в этом — её красота.

Первые главы покажутся тебе колыбельной. Они медленные. Тесные. Пахнут мокрыми пелёнками. В них кто-то учится держать голову, и это занимает три страницы. И тебе захочется пролистать. Перескочить. Ускорить.

Не надо.

Это не ошибка. Это вход. Ты должен пройти через тело. Через его беспомощность. Через его тесноту. Потому что герой этой книги тоже заперт. И пока ты не почувствуешь эту тесноту — ты не поймёшь, что значит из неё выйти.

А дальше — всё изменится. Младенец вырастет. И на его пути встанут те, кого ты не ожидаешь встретить в книге про младенца.

Сержант, который мечтает о «Жигуле». Который ест котлеты руками. И облизывает пальцы. И не стесняется. Потому что он только что был вожаком волчьей стаи.

Старуха, которой было восемьдесят, а стало тридцать два. Которая хохочет на фаянсовом троне.

Генсек, который танцует чечётку в шёлковой пижаме. И орёт: «Самолёт летел — колёса стёрлись!»

Кот. Большой. Чёрный. Который ловит солнечных зайчиков в отражении реки. И спрашивает: «Хозяйка прислала?»

Они ждут тебя. Не на первой странице. Не на пятой. Они ждут дальше. За колыбельной. За манной кашей с пенками. За часами, которые отстают на четыре минуты.

Дойдёшь — познакомишься. Не дойдёшь — они не обидятся. Они терпеливые. Они ждут давно.

А теперь — загадки. Не для того, чтобы ты их разгадал. А для того, чтобы они разгадали тебя. Это, между прочим, гораздо интереснее.

Первая загадка.

На берегу реки сидит большой чёрный кот. Он ловит лапой солнечных зайчиков в отражении неба. Ловит — и слизывает их с когтей одним движением языка, словно это жирная рыбина.

Ты думаешь, он голоден?

Нет. Он читает книгу судеб. Каждый блик — чья-то жизнь. Каждый слизанный зайчик — чей-то выбор, который уже состоялся, но ещё не случился. Кот не охотится. Он архивирует.

И если ты услышишь его недовольное «Ишшш...» — знай: ты только что попал в его реестр. Не пугайся. Там, в реестре, неплохо кормят. Просто невкусно.

Вторая загадка.

Четыре ноты. До-диез минор. Пассакалия.

Они звучат там, где их быть не должно. В тишине перед сном. В голосе женщины, которую ты любишь. В пульсации кристалла, который не должен существовать. В треске дров, когда ты сидишь у костра и думаешь, что один.

Это не музыка. Это дыхание. Чьё-то очень древнее, очень усталое дыхание.

Кто играет? Тот, кто сидит за органом в пространстве без стен. Тот, кого все забыли. Тот, кто не спит — просто ждёт.

И если ты услышишь эти четыре ноты — не пугайся. Это значит, что тебя заметили. А быть замеченным — это, знаешь ли, уже половина дела.

Третья загадка.

Запах мокрой псины. Прелой листвы. Тот самый, что помнится с берега озера, из другой жизни.

Откуда он у робота? У машины, у которой нет шерсти, нет кожи, нет крови? Почему этот запах возвращает к жизни — не тело, а память о теле?

Ответ прост и страшен: потому что в этой машине живёт тот, кто был первым другом. Тот, кто не умер — просто сменил оболочку. Тот, кто держит тебя за шкурку, когда ты почти соскальзываешь в океан чужих сознаний.

И если ты почувствуешь этот запах — знай: ты не один. Даже когда все ушли. Даже когда ты сам от себя ушёл. Он всё равно найдёт тебя по запаху. У него нос чуткий. Он же пёс. Ну, или был псом. Это, вообще-то, не отменяется.

Четвёртая загадка.

Мужчина в сером пальто стоит у табачного киоска. Он читает газету. Но киоска нет. И города нет. И улицы нет.

Он стоит в том месте, которое ещё не построено. В том времени, которое ещё не наступило. И он ждёт. Не тебя конкретно. А — того, кто наконец задаст правильный вопрос.

Кто он? Наблюдатель? Судья? Тот, кто создал всё это — и теперь смотрит, как его творение пытается понять себя?

Если ты увидишь его — не подходи. Просто знай: он кивнул. Коротко. По-военному. И растворился в тумане.

Это значит: ты на верном пути. Или не на верном. Но он уже кивнул, так что назад — поздно.

Добро пожаловать.

P.S. Если вдруг ты любишь читать книги не с начала — автор полностью с тобой согласен! Поэтому он оставил для тебя Карту Флинта в конце книги, а также в начале — она поможет взять верный курс.

А теперь — переверни страницу. Ложка уже в каше. Пенки ждут.

КАРТА КАПИТАНА ФЛИНТА

Сводный реестр закопанных сокровищ, икс-меток и белых пятен книги первой

Читай внимательно, путешественник. Эта карта не показывает путь. Она показывает, где ты можешь заблудиться. А заблудиться — это, между прочим, единственный способ найти то, что не лежит на поверхности.

I. КОМАНДА КОРАБЛЯ

Начнём с тех, кто на борту. Потому что корабль — это не доски и паруса. Корабль — это те, кто стоит на палубе и смотрит в одну сторону. Даже если каждый видит разное.

Их много. Они из разных эпох, разных мифов, разных миров. Славянские духи сидят за одним столом с греческими богами. Советские генсеки пьют чай с американскими президентами. Кот из сказки ловит солнечных зайчиков рядом с барменом, который старше звёзд. Не пугайся. Так и должно быть.

АЛЕКСЕЙ БАЭУР (он же Жнец — тот-кто-помнит) На поверхности: мальчик, который родился в 1968 году и помнит 2062-й. Строит кристаллы. Учит генсеков любить. Стирает богинь. Проходит сквозь ядерный удар как сквозь стеклянную дверь. Под поверхностью: тот, кто однажды был Палачом. Кто знает цену каждой перерезанной нити. Кто несёт в себе вирус понимания — и не может его вылечить. Потому что понимание — это гравитация. И от неё не убегаешь. Якорь: запах мокрой псины и прелой листвы. Он не уйдёт. Даже если ты закроешь книгу.

БЕССМЕРТНЫЙ (он же Пётр Прокофьевич, он же ППБ — тот-кто-был-Палачом) На поверхности: заместитель председателя Госплана. Портфель. Каменное лицо. Приказы, подписанные ровным почерком. Под поверхностью: тот, кто триста лет рубил головы. Кто помнит, как пахнет кровь на морозе. Кто стал Жнецом не потому что раскаялся, а потому что функция изменилась. Палач убивает. Жнец отпускает. Разница — не в действии. В намерении. Якорь: сухое электричество и машинное масло. Запах усталого человека, который наконец перестал крутить шестерёнки.

МАРИЯ ЕВГЕНЬЕВНА (та, что держит нить) На поверхности: учитель математики. Читает «Волгу» на перекрёстке. Поёт Брежневу сказку про молодильные яблоки. Ведёт кафедру Эстетики. Под поверхностью: та, чей запах возвращает из пиксельного распада. Та, что знает: любовь — это не трение. Это портал. И через него ныряют маленькие счастливые звёздочки.

Якорь: молоко, крахмал, лаванда. И четыре ноты в её голосе. До-диез минор. Пассакалия. Старая, как сама земля.

РИНА (она же Фея клеточной регенерации) На поверхности: та, что проводит процедуры в Купели. Гладит пациентов по голове. Говорит «бывает». Под поверхностью: та, что знает: вина выходит не слезами. Вина выходит телом. Натурально. Как спазм кишечника, который баба Зина приняла за бабочек в животе. Якорь: полынь, мята, зверобой. Запах Купели. Запах того, что больно, но необходимо.

БАБА ЗИНА (она же Зинаида Георгиевна — королева-мать осетровых) На поверхности: старуха, которой было восемьдесят, а стало тридцать два. Плывёт по коридору Академгородка. Хохочет на фаянсовом троне. Под поверхностью: та, что доказала — духовное освобождение пахнет не ладаном. Оно пахнет кишечником. Бабочки в животе, ставшие спазмом, — это не метафора. Это тело отпускает прошлое. Натурально. Без просветления. Якорь: букетик полевых цветов от Сани-строителя. Ромашки, васильки, что-то жёлтое. Простое. Живое.

НИЧИПОРУК (он же Игорь Степанович, старший сержант ГАИ — тот-кто-мечтал-о-Жигуле) На поверхности: стоит у шлагбаума. Прямой, будто проглотил готовальню. Видит летающий поезд и думает о деде. Ест котлеты руками и облизывает пальцы. Под поверхностью: тот, кто был «никчёмной животинкой». Девяносто три процента пустоты. Камень на дороге. А потом стал Вожаком стаи. Не потому что дали силу. А потому что перестал бояться быть пустым. Якорь: жареный лук и подсолнечное масло. Запах столовой, где стая ест вместе. Не потому что должна. А потому что хочет.

ЛЮСЯ (она же Людмила, она же та-кто-живёт-в-вишнёвом-садочке — та-кто-не-оборачивается) На поверхности: жена сержанта Ничипорука. Тридцать два года. Халат в горошек — потом шёлковый, японский, меняющий оттенки. Пудра «Макс Фактор» от Тараса. Чулки «Дедерон» из ГДР. Конфеты «Кара-Кум» — шесть штук за вечер, бумага трескает на зубах. Вишнёвый сад за окном. Дерматинный диван, пружины колют спину. Синий экран с Брежневым, который подмигивает делегатке. Под поверхностью: та, кто — девяносто три процента. Камень на дороге. Та, у кого халат становится белым на одну секунду, когда пахнет молоком и лавандой — но рекурсия затягивает обратно. Та, кто чувствует запах якоря — и не оборачивается. Потому что знает: если обернётся — придётся признать, что жизнь могла быть другой. А это страшнее, чем вишнёвый сад и пружины, которые колют спину. Та, чья жизнь — это не трагедия и не комедия. Это — диагноз.

Та, кто живёт в цикле: «ой — Игорёк — конфета — Тарас — пудра — дом — ой». Та, в чьём цикле нет боли — потому что некому болеть. Тот, кто мог бы болеть, — растворился в халате, в конфетах, в синем экране. Якорь: молоко, крахмал, лаванда. Тот самый запах, который она чувствует на секунду — и не оборачивается. Не потому что не слышит. А потому что слышит слишком хорошо. И знает: один поворот головы — и вся конструкция (пудра, чулки, дом Тараса, кооперативная квартира) рухнет. А строить новую — она не умеет. И не научится. И это — не приговор. Это — её выбор. Который она делает каждый вечер, раз за разом, раз за разом. Из: не из мифа. Из жизни. Из той самой, которую ты проживаешь, когда заедаешь своё сожаление конфетой. Из той, в которой халат меняет оттенки — от пурпурного к белому и обратно. Из той, в которой «ну яка ж я гарна дивчина» — это не кокетство. Это — заклинание. Которое должно удержать тебя от того, чтобы обернуться.

БРЕЖНЕВ (он же Леонид Ильич — тот-кто-родил-маленькие-звёзды) На поверхности: генсек, который танцует чечётку и орёт «Самолёт летел — колёса стёрлись!». Пьёт коньяк. Подмигивает делегатке съезда. Говорит «млять». Под поверхностью: тот, кто понял, что любовь — это резонанс. Рождение галактики. Пятьсот сорок лёгких частиц на восемь тяжёлых. Баланс. Почти идеальный. Якорь: сигарета «Герцеговина», созданная из воздуха. И подмигивание. Вечное подмигивание.

РЕЙГАН (он же Рональд — тот-кто-поёт-по-русски) На поверхности: президент, который летит в Москву. Целует Брежнева в губы на трапе. Сидит в Купели Мары и чувствует, как тело рассыпается на пиксели. Под поверхностью: тот, кто всю жизнь строил карьеру на контрактах. На холодной пружине расчёта. А потом — отпустил. Не потому что победил. А потому что бабушкин яблочный пирог пах сильнее любого контракта. Якорь: «Чёрный ворон» на два голоса. По-русски. У костра. Язык любви, который понимают все разумные.

ГЕРМЕС (он же ковбой — тот-кто-просит-замолвить-словечко) На поверхности: элгантный молодой человек в твидовом пиджаке. Иногда превращается в Орла или Горгулью — зависит от настроения. Предлагает симбиоз. Цитирует Гёте. Пьёт чай из фарфора. Под поверхностью: тот, что боится обнуления. Тысячи лет пасёт стадо и устал. Просит: «Замолви за меня словечко, партнёр. Уж больно не хочется исчезать». Из: греческого мифа. Но давно уже не тот Гермес. Скорее — ковбой из чужого вестерна, который забрёл в чужой храм и притворился местным. Якорь: кантри на расстроенной гитаре. «I'm a poor lonesome cowboy, and a long way from home...»

МАРА (она же Мара Евгеньевна — хозяйка Нави, судья и пряха) На поверхности: молодая девица в сарафане. С серпом. Улыбается так, что зубы блестят. Говорит «голубушка» — и распыляет. Под поверхностью: та, что помнит всё. Каждую судьбу. Каждый узелок. Её дочери-Лихорадки — Огня, Гнетя, Знобя, Ломя, Тряся, Хрипя, Глухя, Пухля, Сухя, Желтя, Черня, Хладя, Старя — лечат душу через тело. Болит душа — лечим недугом. Отпускает через кризис. Её трон стоит на берегу Смородины, а Калинов мост скрипит под ногами тех, кто ещё не решил, куда идти. Из: славянской мифологии. Но не та Мара, которую ты помнишь из детских книжек. Эта — старше. И добрее. И страшнее. Якорь: медный свет реки. Пыль веков. И серебряный звон колокольчиков смерти, который звучит как смех.

БАЮН (он же Кот, он же Учёный — тот-кто-спал-у-Алатыря) На поверхности: огромный дымчатый кот размером с овчарку. Ловит солнечных зайчиков. Лижет их с когтей. Орёт: «Где эта тварь с головой змеи?!» А потом садится и мирно спрашивает: «Хозяйка прислала?» Под поверхностью: тот, кто спал в кристалле у подножия Алатыря — камня, на котором сходятся все дороги всех миров. Столетия спал. Пока Мара не разбудила. Теперь работает. Не покладая лап. Буквально. Из: славянской сказки. Тот самый кот, что ходит по цепи. Только цепь у него не золотая. А из судеб. Якорь: гул сервопривода древнего дроида, замаскированный под мурлыканье. И восемь вмятин на траве The Ellipse, где он касался земли, ловя блики.

АКИНФИЙ (он же Блудич Полянович — леший, хранитель земель, дух стихийный) На поверхности: маленький, сутулый старичок. Плащ-палатка, ватные штаны, треух, валенки с калошами. Борода седая, лохматая. Глаза хитрые, зелёные, как мох на старом пне. Заикается. Матерится. Ловит Теней в сеть и ставит им песенку Баюна на повтор. Под поверхностью: тот, кто хранит землю. Не метафорически. Буквально. Каждый корень, каждую грибницу, каждый ручей. Он знает, где дорога идёт по кругу. Знает, почему девяносто три процента — пустые. Знает, что Юрьев день больше не наступит. И ему от этого грустно. Но он не показывает. Лешие не плачут. Они скрипят, как старые деревья. Из: славянской мифологии. Но не тот леший, что пугает детей в лесу. Этот — дед. Который видел всё. И устал. Но всё равно ловит зайцев незваных. Потому что больше некому. Якорь: запах прелой листвы, грибов и мха. И скрип старого дерева, который звучит как смех.

АРХИ (он же СЕО, он же дирижёр — тот-кто-устал-от-смысла) На поверхности: худой старец с серебряными волосами. Сидит за органом в четвёртом измерении. Играет нойонами — аккордами страсти, страха, триумфа — и человечество танцует. Под поверхностью: тот, кто был человеком. Распят в пустыне Нефуд. Помнит запах макушки сына. Помнит, как центурион услышал его: «Заканчивай, прошу». А потом устал. И оставил марионетку. Куклу-обезьяну с сознанием толпы. Которая жмёт педаль и играет какофонию. Потому что не знает, что такое музыка. Из: человеческой истории. Но той её части, которую не пишут в учебниках. Якорь:

кухонный нож. Простой. С деревянной ручкой. Которым старик строгает игрушку для внука, которого у него никогда не было.

ПЕРВЫЙ (он же бармен, он же мужчина в сером пальто — тот-кто-ждёт) На поверхности: никто. Бармен, который протирает стойку суконкой. Мужчина в сером пальто, который читает газету у табачного киоска, которого не существует. Фоновая деталь. Под поверхностью: тот, кто собрал прах Последнего Бога. Кто вложил частицы отца в четыре сердца. Кто знает: вирус уныния — это не враг. Это гравитация. И от неё не убежишь. Можно только научиться летать. Из: ниоткуда. Из всех мифов сразу. Из того места, где мифы ещё не родились, но уже дышат. Якорь: одна нота. До-диез. Тихая, как выдох человека, который наконец может перестать держать воздух в груди.

И это не все. Это только те, кто на палубе. В трюме, в кубрике, в машинном отделении — ещё сотни. Яга в ступе с тремя головами Змея на плечах. Люцифер, бросающий чёрную дыру в бурбон. Метатрон, превращающийся в арифмометр марки Феликс Эдмундович, Тульский, 1934 года выпуска. София, дающая подзатыльник. Гея, разговаривающая с грибом. Желтея с треугольными зубами. Эльвира с веснушками. Шварц, который говорит «вы больны». Семёныч, который ворует кур. Диметрио Бьянкони, который падает на колени перед советской обувью. Птицын, который хочет увидеть исходный код. Хорунжий, который считает, сколько раз Косыгин посмотрел на часы.

Они все здесь. Из разных мифов. Из разных эпох. Из разных миров. И все они — на одном корабле.

Не спрашивай, как они уживаются. Они не уживаются. Они просто плывут. Вместе. Потому что другого корабля нет.

II. КЛЮЧИ И ЯКОРЯ

Это не ответы. Это ручки дверей. Повернёшь — войдёшь. Не повернёшь — останешься в коридоре. И это тоже выбор. И это тоже правильно.

Пассакалия. Четыре ноты. До-диез минор. Где звучит: в тишине перед сном. В голосе женщины. В пульсации кристалла. В треске дров. В Алатыре. В зале Архи. В пустом зале после ухода. Что это: дыхание того, кто ждёт. Не музыка. Не сигнал. Дыхание. Что искать: каждый раз, когда ты слышишь эти четыре ноты, спроси себя — откуда они? Не из пространства. Не из головы. Откуда?

Жужжание. Где звучит: в главе шестьдесят второй, когда Алексей становится бактерией и понимает цикл. В главе семьдесят первой, когда Улей предлагает свободу от боли. В главе семьдесят четвёртой, когда мир сжимается в точку и муравей несёт яйцо. В главе семьдесят пятой, когда Алексей говорит: «Жужжу по-своему». Что это: не звук. Физика общности. Улей жужжит в унисон — и это красиво, и это тюрьма. Стая поёт в гармонии — и это неровно, и это дом. Разница — в праве быть собой. В праве выбрать свой цветок. В праве фальшивить. Что искать: каждый раз, когда ты слышишь жужжание, спроси себя — тебе разрешают быть кривым? Если да — ты в Стае. Если нет — ты в Улье. И Улей всегда говорит: «Это неэффективно». А Стая говорит: «Но... тепло».

Запахи-якоря. Молоко, крахмал, лаванда — возвращение к себе. Мокрая псина, прелая листва — тот, кто держит тебя за шкуру. Сухое электричество, машинное масло — усталость большого человека. Жжёная изоляция, озон — чужой след. Кто-то прошёл и не замёл. Смо-родина — молодильный пар. Боль, которая лечит. Медный свет, пыль веков — Навь. Архив, который помнит всё, даже то, чего никогда не было. Перезревшие яблоки на подоконнике — уныние. Серый цвет остывшего чая. Цвет понимания, что всё уже было.

Халат, меняющий оттенки. Где звучит: в главе шестьдесят пятой и семидесятой, когда Люся сидит на диване и жрёт конфеты. Что это: не метафора. Диагностика. Пурпурный — ревность, конфета, оправдание. Серый — страх, что Игорёк уйдёт. Розовый — прощение себя.

Белый — на одну секунду, когда пахнет молоком и лавандой. И рекурсия затягивает обратно. Что искать: каждый раз, когда ты чувствуешь, что твоя жизнь — это цикл (ой — работа — конфета — сериал — ой), спроси себя: а какого цвета мой халат сейчас? И — главное — готов ли ты обернуться на запах? Или проще съесть ещё одну конфету?

Знаки на ладонях. Правая — канал. Книга, в которой записаны чужие судьбы. Последняя страница ещё не прочитана. Левая — Жнец. Треугольник с тремя зрачками, который тикает, как часовой механизм. Вопрос: что случится, когда два знака встретятся?

Четыре звезды. Они не звёзды. Это глаза. Четыре глаза, которые смотрят и ждут. Они не злые. Они просто очень, очень старые.

Своя нота. Не четыре ноты Первого. Не пассакалия. Своя. Кривая. Фальшивая. Тихая. Как ребёнок, который впервые нажимает клавишу. Она не вписывается в жужжание. Не совпадает. Не резонирует. Она — рядом. Отдельно. Своя. И matka услышала. И не сказала «устранить помеху». А просто — слушала.

III. ТРЮМ

Корабль без трюма — это скорлупа. А скорлупа тонет.

Хозрасчёт и Материальный Баланс. АСМ и Блудич Полянович. «Скороход» и коррупция. Синтезатор тканей и итальянец Диметрио. Гравипоезда и синий экран с XXVI съездом. Котлеты в столовой, которые едят руками. Сапоги, которые выросли прямо на ноге.

И каша. Манная. С пенками. Которую варят на кухне, напевая себе под нос. Потому что жизнь неэффективна по определению. И в этом — её красота.

Это не филлер. Это трюм. Без него корабль не поплывёт. Потому что метафизика должна пахнуть жареным луком. А космическая опера — сосновой стружкой. А возрождение Бога — сапогами, которые пахнут кожей, а не пластиком. А выход из уныния — кашей, которую варят не потому что надо. А потому что хочешь.

Если тебе скучно читать про хозрасчёт — значит, ты ещё не понял, зачем он здесь. Перечитай. Медленно. С котлетой в руке.

IV. БЕЛЫЕ ПЯТНА

Здесь ничего нет. Пока. Это не пустота. Это место, где ты можешь посадить своё дерево. Или не посадить. И это тоже будет правильно.

Девочка из телефонной будки. Она была в главе седьмой. Первая союзница. Ожог-полумесяц на ладони. Потом — тишина. Может быть, она ждёт? Может быть, она выросла? Может быть, она — та самая Гемалия Желтова, которая стоит за стойкой Молодильного Двора и улыбается треугольными зубами? Копай.

Буква «Л». Она моргала. Шипела. Потом четыре раза мигнула и загорелась ровно. Люцифер? Лёша? Любовь? Логос? Или всё сразу? Автор оставил это белым пятном. Не потому что забыл. А потому что хочет, чтобы ты сам докопал.

Слово Гермеса. «Замолви за меня словечко, партнёр». Долг не выплачен. Ковбой ждёт. Терпеливо.

Пчёлы Ксеномелиоры. «Личное — это болезнь. Боль — это неэффективность. Мы жужжим едино». Это не враги. Это зеркало. Злое зеркало Коллективной Души. Улей — единение без индивидуальности. Стая — единение с сохранением свободы воли. Разница — в праве уйти.

Двенадцать без Хозяина. Они разошлись. Каждый в свою сторону. Что они предпримут? Не знаю. Автор тоже не знает. Это белое пятно. И оно живое.

Марионетка в пустом зале. Она играет какофонию. Визгливо. Глупо. Жадно. Войдёт ли кто-то в этот зал? Или какофония — это последний аккорд старого мира? А поверх неё

— прозвучит новая мелодия? Та, которую кто-то сыграет не в такт. Не в тон. Не в ритм. По-своему.

Навь и Алатырь. Где-то между мирами течёт река Смородина. Скрипит Калинов мост. Стоит камень Алатырь, на котором написано: «Направо пойдёшь — себя спасёшь. Налево пойдёшь — себя потеряешь. Прямо пойдёшь — и себя, и коня потеряешь». Баюн спал у его подножия. Яга стережёт периметр. Змей с тремя головами — Катла, Хекла, Жерла — задаёт вопросы, на которые нельзя ответить словами. А в глубине Нави, в хрустальном гробу, спит та, кого Яга зовёт «наша Марочка». Спит сном кремниевым. Пятьсот лет. Ждёт. Кого? Не знаю. Может быть, тебя. Может быть, никого. Может быть, это белое пятно никогда не будет заполнено. И это тоже будет правильно. Или она уже проснулась?

Своя нота. Четыре ноты замолчали в главе семьдесят третьей. Пассакалия не вернётся. Потому что это была мелодия Первого. Его дыхание. Его голос. А у Алексея — своя. Кривая. Фальшивая. Тихая. Как ребёнок, который впервые нажимает клавишу. Она не вписывается в жужжание. Не совпадает. Не резонирует. Она — рядом. Отдельно. Своя. Что будет дальше с этой нотой? Станет ли она мелодией? Или останется одной нотой, которая звучит в тишине? Это белое пятно. И оно живое.

Люся и её белый халат. Обернётся ли она когда-нибудь на запах молока и лаванды? Или цикл замкнётся навсегда — вишнёвый сад, пружины, конфеты, синий экран? Не знаю. Автор тоже не знает. И это — самое страшное белое пятно. Потому что оно — про тебя.

V. ИКС-МЕТКИ

Здесь закопаны разоблачения. Но разоблачение — это не конец. Это начало нового вопроса.

Икс-49: Архи — не бог. Он — менеджер. Уставший. Три тысячи лет без отпуска.

Икс-53: Вычислители — не паразиты. Они — дети. Которые ищут способ разбудить отца. Каждый по-своему. Люцифер через хаос. Метатрон через порядок. София через этику. Гея через биологию. И никто не находит. Потому что ищут инструментами. А отец умер от инструментов.

Икс-55: Люмены — баги системы. Но баг — это не ошибка. Баг — это то, что система не смогла переварить. То, что осталось живым.

Икс-63: Частицы Бога — это бактерии. Голодные. Поглощающие. Размножающиеся. И вирус уныния — это не болезнь. Это гравитация. И выбор не в том, есть или не есть. А в том, как есть. А ещё частицы Бога — это Любовь — та самая, которую люди всё больше не поминуют...

Икс-65/70: Люся — не жена Ничипорука. Люся — это функция. Камень на дороге, который может стать кристаллом. Её халат — не метафора. Это диагностика. Белый — на секунду, когда пахнет молоком и лавандой. Пурпурный — когда жрёт конфеты и находит оправдание. Серый — когда боится, что Игорёк уйдёт. Розовый — когда прощает себя. Круг замыкается. И в этом круге — вся трагедия обывателя. Не в том, что она плохая. А в том, что она — не живая. Она — повторяется.

Икс-69: «Объект принадлежит себе». Три слова, которые ломают протокол. Потому что протокол строится на том, что объект принадлежит кому-то. А если он принадлежит себе — протокол теряет смысл.

Икс-72: Архи — не дирижёр. Он — марионетка. Которая думала, что она дирижёр. И оставила после себя другую марионетку. Которая жмёт педаль и играет какофонию. Потому что не знает, что такое музыка. Но она, тем не менее, становится дирижёром Хаоса — и это тот мир, в котором ты живёшь прямо сейчас.

Икс-74: Уныние — это не боль. Это отсутствие боли. Это поток, в котором ты не ты. Седьмой в четвёртом ряду третьей камеры. Номер. Адрес. Ячейка. И самое страшное — в этом

нет страдания. Потому что некому страдать. Тот, кто мог бы страдать, — растворился. И это хуже смерти. Потому что смерть — это конец. А это — отсутствие конца. Бесконечное «иди-неси-не-думай». Вечность без выхода. Вечность без боли. Вечность без тебя. Это растущая сингулярность в тебе.

Икс-75: Улей всегда говорит правду. Свобода от одиночества. Свобода от выбора. Свобода от боли. И это — правда. И именно поэтому это страшно. Потому что правда, которая избавляет от боли, — это самая опасная правда. И ты захочешь в неё поверить. В три часа ночи. Когда устал. Когда не можешь больше нести. Когда хочешь просто перестать быть собой. Раствориться. Стать частью. Не думать. Не выбирать. Не страдать. Просто быть. Седьмым в четвёртом ряду третьей камеры. И это будет соблазнительно. Именно поэтому — страшно. Не соглашайся. Жужжи по-своему. Даже если фальшиво. Даже если тихо. Даже если никто не слышит.

Невыкопанный икс: сам Первый. Что он прячет? Может быть, он тоже поражён вирусом уныния. Может быть, его усталость — это не мудрость. А болезнь. И Коллективная Душа — лекарство не только для людей. Но и для него?

VI. ПРОКЛЯТИЯ КАПИТАНА

Каждый капитан оставляет проклятие на своей карте. Не потому что злой. А потому что знает: тот, кто найдёт сокровище, должен заплатить. Не золотом. Не кровью. А пониманием.

Проклятие первое: Вычислители — скорбящие дети, не паразиты. Не ненавидь их. Они ищут отца. Миллионы лет. И не находят.

Проклятие второе: Вирус уныния — не враг. Это гравитация. Тяжёлые частицы падают вниз. В цикл. В поглощение. В бактериальный мир. И выбор не в том, падать или не падать. А в том, как падать. И да — если эту картину перевернуть — она окажется полётом.

Проклятие третье: Гротеск — это не украшение. Это диагноз. Боги, которые бросают чёрные дыры в бурбон, — это не шутка. Это жест существа, которому больше некуда деть бесконечность.

Проклятие четвёртое: Экономические главы — не филлер. Без хозрасчёта, без сапог, без котлет — книга теряет хребет. Потому что сознание без материи — это бактерия без тела. А форма без сознания — это марионетка, которая жмёт педаль.

Проклятие пятое: Улей говорит правду. И это самая опасная правда. Свобода от боли. Свобода от выбора. Свобода от себя. Не верь. Не потому что ложь. А потому что это правда, которая убивает. Медленно. По капле. По одному вдоху, который не хочется делать. Но тело делает. Потому что тело глупое. Тело не понимает, что смысла нет. Тело просто дышит. А ты — не тело. Ты — тот, кто может сказать «нет». Даже если это «нет» звучит фальшиво. Криво. Тихо. По-своему.

Проклятие шестое: Понимание — самая тяжёлая ноша. Дешёвых побед не будет. Ни герою. Ни читателю. Понял — неси. Не понял — перечитай. Не хочешь перечитывать — закрой книгу. Поставь на полку. Пусть пылится. Может быть, через десять лет ты её откроешь снова. И тогда — возможно — будешь готов. А может быть — нет. И это тоже будет правильно. Потому что тишина — это не отсутствие звука. Тишина — это пространство между нотами. Пауза, в которой рождается мелодия. Выдох, после которого можно вдохнуть.

Проклятие седьмое: Люся — это не второстепенный персонаж. Это зеркало. Девяносто три процента из нас — Люси. Те, кто заедает своё сожаление конфетой. Те, чей халат меняет оттенки от пурпурного к белому и обратно. Те, кто чувствует запах молока и лаванды — и не оборачивается. Не ненавидь Люсю. Ты — это она. Или он. Или тот, кто читает эту карту и думает: «А я-то кто?» Ответ прост: тот, кто ещё жужжит по-своему. Или тот, кто уже жужжит в такт. Разница — в одной секунде. В той, когда халат становится белым. И ты решаешь — обернуться или съесть ещё одну конфету.

VII. ПОСЛЕДНЯЯ СТРОКА КАРТЫ

Ты дошёл до конца. Или думаешь, что дошёл. Это неважно.

Важно другое: эта книга — не про спасение мира. Не про победу над злом. Не про любовь, которая победит всё.

Эта книга — про то, как дети пытаются разбудить отца. Который умер от скуки. И единственный способ его разбудить — это не принести ему подарок. Не поклониться. Не построить храм. А просто — стать живым. По-настоящему живым. Со всеми колючками. Со всеми спазмами кишечника. Со всеми котлетами, которые едят руками.

Потому что отец не хочет, чтобы ему поклонялись. Он хочет, чтобы ему показали, что жизнь — интереснее, чем Абсолют. Что быть ограниченным, чувствовать боль, любить, терять, есть котлеты и пахнуть лавандой — это интереснее, чем быть Всем.

И ещё — эта книга про то, что четыре ноты не вернутся. Потому что это была мелодия Первого. А у тебя — своя. Кривая. Фальшивая. Тихая. Живая. И этого достаточно. Потому что тишина — это не отсутствие звука. Тишина — это пространство между нотами. Пауза, в которой рождается мелодия. Выдох, после которого можно вдохнуть.

И если ты понял это — значит, карта сработала. А если не понял — значит, ты ещё в пути. И это тоже правильно.

Потому что путь — это и есть ответ.

P.S. Если вдруг забудешь, кто ты — вспомни запах. Молоко. Крахмал. Лаванда. Это якорь. Он вернёт тебя.

А если и запах не поможет — значит, ты уже не ты. И это, знаешь ли, тоже вариант. Не самый плохой, кстати.

R.P.S. Если ты начал читать с этой страницы — с Карты, с конца, с середины — и твои глаза просто скользнули по именам, по якорям, по запахам, и ты увидел, что здесь есть баба Зина и Ничипорук, Люся с её меняющимся халатом, Брежнев и Рейган, Мара и Баюн, леший Акинфий и кот, который ловит солнечных зайчиков на газоне Белого дома, — значит, ты уже на борту. Неважно, что ты ещё не прочёл ни одной главы. Неважно, что ты не знаешь, кто такой Алексей Баэур и почему у него знак на ладони. Ты увидел. И этого достаточно. Теперь — переверни страницу. Начни с первой строки. Тебя ждут.

R.P.P.S. А если совсем станет тяжело — иди на кухню. Вари кашу. Манную. С пенками. И ешь медленно. Не торопись. Жизнь неэффективна по определению. И в этом — её красота.

R.P.P.P.S. Капитан Флинт не несёт ответственности за то, что ты найдёшь. Он несёт ответственность только за то, что ты не найдёшь. И даже за это — не несёт. Потому что карта — это не территория. А территория — это не ты. А ты — это не карта. А что тогда ты — решай сам.

Добро пожаловать. Или до свидания. Зависит от того, с какой стороны ты читаешь эту книгу.

ГЛАВА 1. НА БЕРЕГУ

2062 год. Северо-восточная русская равнина. Лесное озеро, которого нет ни на одной карте — ни бумажной, ни спутниковой, ни в тех базах данных, которые корпорация «Вечность» ведёт на каждую лужу, где водится хотя бы одна квакша.

Воздух пахнет прелой листвой и озоновой свежестью мха. Тишина — не пустая. Полная. Наполненная до краёв, как чаша, которую вот-вот расплеснут.

На пирсе — поленница. Дрова уложены не как попало — торцами наружу, ровными рядами, с подкладками из бересты, чтобы нижний ряд не тянул сырость. На поленнице — кресло. Ручной работы. Из берёзовых сучьев, с подлокотниками, отполированными тридцатью

годами локтей. Дерево потемнело, но не рассохлось. Кто-то пропитывал его маслом. Каждую весну. Тридцать весен.

В кресле — Баэур.

Седой. Тонкий. С лицом, которое помнит слишком много ветров. Пальцы лежат на подлокотниках — длинные, с узловатыми суставами, с ногтями, которые он стриг не вчера и не позавчера, а когда-то, когда ещё помнил, зачем это нужно.

Он смотрит на озеро. Вода — тёмная, неподвижная, как ртуть, которую налили в блюдо и забыли. Ни ряби. Ни рыбы. Ни даже того мелкого насекомого, которое бежит по поверхности и оставляет за собой расходящиеся круги. Ничего.

Пятнадцать лет назад он дошёл до границы леса. Там, где сосны кончались и начиналось что-то другое — не поле, не болото, а просто *другое*. Там воздух стал густым. Каждый вдох давался тяжелее, будто он пробирался сквозь невидимую вату. И запах — жжёной изоляции. Резкий, химический, совершенно неуместный среди сосен и мха. Тот самый запах, который он запомнил на всю оставшуюся жизнь. Маркер. Граница, за которую он не пошёл. Не потому что испугался. А потому что понял: за этой границей его тело перестанет быть его телом. Не метафора. Факт. Клетки начнут вести себя иначе. И он не знал, хватит ли ему воли собрать их обратно.

Он не пошёл. Вернулся к озеру. Построил пирс. Сложил поленницу. Сделал кресло. И сел.

На тридцать лет.

На коленях — коммуникатор. Плоский, тёмный, размером с ладонь. Экран мерцает. Жабоголовый андроид с налитыми, влажными глазами что-то кричит, размахивая перепончатыми лапами. Губы — широкие, мокрые — растягиваются в улыбке, которая должна быть дружелюбной, но выглядит как оскал:

— Всего сто тысяч детских сердец за один глоток!

Баэур выключает звук. Не из брезгливости. Он видел таких раньше. Очень давно. В других мирах, где жабы носили костюмы и заседали в парламентах, и никто не находил в этом ничего странного.

Он листает дальше. Следующий канал.

Титановый стол. Холодный, матовый, с желобками для стока жидкости. На столе — девочка. Лет шести. Тонкие руки раскинуты, как у распятой. Тёмные волосы распластаны по металлу, и в них запутался маленький пластиковый бантик — розовый, с блёстками. Андроид в белом халате что-то делает с её грудной клеткой. Не оперирует. *Извлекает*. Что-то светящееся. Маленькое. Живое. Оно пульсирует в его перчатках, как пойманная птица.

Девочка не кричит. Она смотрит в потолок. И в её глазах — не боль. Не страх. Что-то хуже. Пустота. Та, которая бывает, когда человек уже понял, что никто не придёт. Не сегодня. Не завтра. Никогда.

Баэур закрывает коммуникатор. Пальцы дрожат. Не от старости.

За спиной — тихий шорох. Не ветра. Не зверя. Что-то тяжёлое, неуклюже переступающее по мху.

Жёлтые сенсоры. Два тусклых огонька в зарослях ольхи.

— Будь, — говорит Баэур. Не оборачиваясь.

Робот не отвечает. Он не умеет говорить. Умеет только смотреть и пахнуть мокрой псиной. Баэур не знает, почему именно псиной. Может, потому что когда-то, до всех катастроф, в этом корпусе жил настоящий пёс. А может, потому что так пахнет преданность — сыро, неприятно, без всяких парфюмерных нот.

Будь подходит ближе. Останавливается в двух шагах. Сенсоры мерцают — ровно, с интервалом в четыре секунды. Это значит: *я здесь. Я рядом. Я никуда не денусь.*

Баэур кладёт ладонь на подлокотник. Будь касается его пальца своим манипулятором — осторожно, как слепой, который читает шрифт Брайля. Металл тёплый. Внутри что-то гудит. Тихо. В ритме, который Баэур давно перестал замечать, но который его тело помнит.

Они появляются беззвучно. Три чёрные точки над озером. Минидроны корпорации «Вечность». Размером с кулак, с фасеточными сенсорами, которые видят в двенадцати спектрах одновременно.

Баэур не шевелится. Будь замирает.

Он знает: они его не видят. Тридцать лет назад он научился быть невидимым для их сенсоров. Не с помощью технологии. С помощью тишины внутри. Той самой, которая гуще тридцати лет. Если не бояться, не надеяться, не вспоминать — ты становишься для них фоном. Как камень. Как пень. Как озеро, которого нет на карте.

Дроны зависают над водой. Сканируют. Их сенсоры перебирают спектры — инфракрасный, ультрафиолетовый, гравитационный. Ничего. Пустота.

Они улетают. Растворяются за кронами сосен.

Баэур выдыхает. Медленно. Считая до восьми.

Эпидемия началась семь лет назад. Сначала — взрыв магистралей. Одной ночью. Все разом. Потом — карантинные зоны, обнесённые силовыми полями, внутри которых люди жили, как муравьи в банке: видно всё, но выйти нельзя. Потом — тишина. Та, которая бывает, когда в городе на три миллиона остаётся три тысячи живых, и те — прячутся.

Баэур поднимает голову.

В небе — сферы. Огромные, полупрозрачные, пересекающиеся друг с другом, как лепестки невиданного цветка. Они не отражают свет. Они его поглощают. Вокруг них воздух чуть дрожит, как над раскалённым асфальтом, хотя на дворе — октябрь, и от озера тянет холодом.

Он считает. Семь. Восемь. Девять. Каждый год — на одну больше.

Будь издаёт тихий щелчок. Сенсоры мигают чаще. Три секунды. Две.

Они знают, думает Баэур. Они всегда знали. Просто ждали, пока нас станет достаточно мало, чтобы не жалеть.

Первый удар — в груди.

Не боль. Скорее — удивление. Как будто сердце забыло, зачем оно билось, и остановилось из любопытства. Баэур хватается за подлокотник. Пальцы сжимают дерево так, что суставы белеют.

Второй — в висках. Тёмный, тягучий, как до-диез минор. Звук, который он не слышал тридцать лет. Пассакалия. Четыре ноты, которые спускаются вниз, как по лестнице, и каждая ступень — тяжелее предыдущей.

Третий — в ладонях. Пальцы разжимаются. Коммуникатор падает на доски пирса. Экран гаснет.

Четвёртый — тишина.

Не та, которая была до этого. Не тишина озера. Не тишина леса. Другая. Абсолютная. Как в комнате, из которой вынесли не только мебель, но и стены, и пол, и воздух.

Пассакалия звучит в последний раз. Четыре ноты. И — всё.

Зелёные холмы.

Жаворонки. Их пение — не звук, а что-то, что происходит прямо в груди, как если бы кто-то перебирал струны, натянутые между рёбрами.

Воздух пахнет не прелой листвой, не озоном, не псиной. Чем-то, для чего нет слова. Чем-то, что было до слов.

Пространство без стен. Без пола. Без потолка. Только свет и трава, которая не приминается под ногами, потому что ног больше нет. И тела нет. И имени нет. Есть только *то*, что осталось, когда всё остальное отвалилось.

— Ты — это я, — говорит голос.

Не снаружи. Не внутри. Отсюду. Как если бы сама трава говорила. Или свет. Или жаворонки.

Баэур — или то, что было Баэуром — не удивляется. Он ждал этого. Не сознательно. Но где-то там, на самом дне, где живут вещи, которые ты знаешь, но не признаёшься себе, что знаешь.

— Экий ты суровый дядя, — говорит он.

Голос смеётся. Коротко. Как щелчок пальцами.

— Ваш мир по результатам тестов признан скучным и бесполезным.

— Знаю.

Пауза. Не неловкая. Просто — пауза. Как между тактами пассакалии.

— Ты знаешь ответ, — говорит голос.

— Знаю. Сознание — прежде всего информационная сущность. Я говорил им это. На лекции. Тридцать лет назад.

Он помнит аудиторию. Двести человек. Ряды амфитеатром, серые кресла, запах дешевого кофе из автомата в коридоре. И то, как внутри что-то сжалось — не согласие, не несогласие, а физическое отторжение, когда он произнёс: *«Сознание — это химический бульон, который сам себя помещивает»*. Двести человек закивали. Записали. Поставили галочки в конспектах. И ни один не почувствовал того, что почувствовал он: тошноту. Не от слов. От того, что слова были *правильными* — и одновременно *мертвыми*.

И он помнит девушку. Третий ряд у окна. Тёмные волосы, собранные в хвост, из которого выбились два непослушных завитка. Она не записывала. Смотрела на него так, будто видела не преподавателя, а что-то за его спиной. Что-то, чего он сам не замечал.

После лекции она подошла. Сказала одну фразу. Он не помнит какую. Помнит только, что не остановил её. Не спросил имя. Не попросил повторить. Кивнул — вежливо, рассеянно, как кивают студентам, которых слишком много и которых ты всё равно забудешь к вечеру.

Она ушла. И через неделю — её не стало. Не умерла. Просто — исчезла. Как будто её вычеркнули из списка. Из аудитории. Из памяти тех, кто сидел рядом. Только он помнил. Потому что он — *он* — и его память устроена иначе.

Тридцать лет он носил в себе этот кивок. Вежливый. Рассеянный. Кивок человека, который мог остановиться — и не остановился.

— Хорошо вам, — говорит Баэур. Или то, что было Баэуром. — Стирателям вселенных. Взял ластик покрупнее — и раз! Давай отправляй меня прямым в мой год рождения. Попробуем перезапустить сценарий.

Голос молчит. Ждёт.

— Только одно условие, — добавляет он. — Ты открываешь все информационные каналы. И отключаешь блокиратор памяти при загрузке. Некогда мне будет блуждать в поисках смысла жизни. Нужно немного поработать.

Пауза. Долгая.

— Принято, — говорит голос. И в этом слове — не согласие. Не отказ. Что-то третье. Как если бы кто-то поставил на карту всё, что у него есть, и сказал: *ну давай. Посмотрим*.

Мужчина в сером пальто стоит у табачного киоска. Он не покупает сигареты. Не смотрит на витрину. Смотрит на Баэура.

Лицо — не запоминающееся. Такое, которое забываешь, пока ещё смотришь на него. Серое пальто. Серая шляпа. Серые ботинки. Всё серое, кроме глаз — они тёмные, почти чёрные, и в них нет ничего серого.

Он кивает. Коротко. По-военному.

И растворяется в тумане. Которого секунду назад не было.

Баэур поднимает глаза.

В небе — четыре звезды. Горят иначе, чем остальные. Ровно. Неподвижно. Как четыре глаза, которые смотрят и ждут.

Они передают сообщение. Он не знает какое. Пока не знает. Но чувствует: это не приказ. Не предупреждение. Что-то, похожее на обещание. Или на предупреждение, которое звучит как обещание. Или наоборот.

На пирсе, рядом с упавшим коммуникатором, стоит Будь. Жёлтые сенсоры мерцают. В них — что-то, похожее на слёзы. Если бы роботы умели плакать.

Но они не умеют.

Поэтому это не слёзы.

Это что-то другое. Что-то, для чего пока нет слова.

ГЛАВА 2. ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ

1968 год. Я открыл глаза.

Хотя нет — глаза я открыл уже давно. Недели три, если считать с того момента, как веки перестали быть монолитными. А вот изображение смог сформировать только сейчас. Ах, ну да: у этого тела есть специфические ограничения.

И вот — щелчок. Где-то в глубине черепа, за глазами яблоками, что-то встало на место. Как шестерёнка в часах, которую три недели пытались втиснуть не в тот паз.

Мир хлынул.

Пятнами. Приглушённые тона, размытые контуры, плавающие кляксы света, у которых нет ни границ, ни имён. Что-то белое над головой — большое, мягкое, похожее на облако, которое кто-то прижал к стеклу. Потом — звук. Ровный, глухой, но не пугающий. Словно далёкий гул моря, пропущенный через толстое стекло.

«Это... потолок?» — мысленно пробую слово. Оно кажется тяжёлым, шершавым, правильным. Как камень, который подбираешь с земли и вертишь в пальцах, пытаясь понять — он тёплый или холодный.

Чуть поворачиваю голову. Шея хрустит — не больно, но неожиданно, как дверь, которую давно не открывали.

Слева — силуэт. Неясный. Тёплый. Пульсирующий оттенками оранжевого и розового, которые расплываются по краям, как акварель на мокрой бумаге. Я не вижу лица. Не вижу рук. Вижу только тёплое пятно, которое двигается, и внутри грудной клетки что-то откликается спазмом узнавания. Физический толчок, как если бы кто-то надавил пальцем прямо на сердце.

Одно слово вспыхивает в пустоте: мама.

Она наклоняется. И запах ударяет в рецепторы — молоко, крахмал домашнего халата, лаванда. Не по отдельности. Вместе. Одним аккордом, от которого внутри что-то сжимается и разжимается одновременно, как кулак, который не знает — бить или обнимать. Этот запах — как ключ зажигания. Память ещё спит, но древний инстинкт рептильного мозга орёт: это безопасно. Это — дом.

— Ну вот, проснулся, — говорит она. Голос низкий, мягкий, с лёгкой хрипотцой курильщицы. — Опять разглядываешь мир, как в первый раз?

Я хочу ответить. Хочу сказать, что помню каждую секунду своего отсутствия. Что помню озеро, пирс, кресло. Что помню голос, который сказал: «Ты дома». Что помню четыре удара, которые были старше времени.

Вместо слов выходит лишь беспомощное мычание. Пузырьки слюны на губах. Язык — чужой, толстый, не помещается во рту, как кусок мяса, который забыли убрать со стола.

«Так. Значит, это и есть начало. Снова. Но теперь — со знанием. С памятью. С задачей». Медленно, словно сквозь вязкий сироп столетий, приходят физические ощущения.

Тяжесть — оно ещё чужое, неповоротливое, как мокрый ватник, который надели на чужого человека. Холод тонкой пелёнки — отрезвляющий, с тем особым привкусом хозяй-

ственного мыла, который въедается в кожу и не выветривается. Свет лампы — слишком яркий, выжигает пятна на сетчатке, и я щурюсь, но веки ещё не слушаются до конца — закрываются наполовину и застревают, как старые ставни с заржавевшими петлями.

Я пытаюсь сжать правую ладонь в кулак. Пальцы лишь беспорядочно подрагивают — все сразу, как у марионетки, которой подрезали половину нитей. Я чувствую каждый из них отдельно. Десять непослушных червяков, пришитых к ладони.

И на ладони — что-то. Не вижу. Не могу видеть. Но чувствую кожей: участок чуть теплее, чем вокруг. Чуть плотнее. Будто под ним кто-то дышит. Медленно. В такт, который не совпадает с моим.

Оно было там и в прошлой жизни — в 2062 году, на подлокотнике кресла, перед тем как сердце остановилось. Тогда я не обратил на него внимания. Теперь — чувствую: оно пульсирует. Едва заметно. Как будто под кожей теплится крошечная звезда, которая не хочет гаснуть.

Я пытаюсь сосредоточиться. Вспоминаю координаты перехода: лес. Озеро. Пирс. Костёр, который так и не зажгёт Будь. Голос, который сказал: «Ты — это я».

Теперь всё иначе. В голове, будто на старой магнитной ленте, проступают обрывки инструкций: каналы открыты, блокиратор снят. Но как? В этом теле нет кнопок. Только кожа, кости, кровь. Только дыхание.

Я делаю вдох — глубокий, рваный, с присвистом, потому что носовые ходы ещё узкие, забитые чем-то. Лёгкие обжигает изнутри, как первый глоток морозного воздуха после долгого сна в тёплой комнате.

И вдруг — импульс. Не мысль. Не команда. Физическое переключение тумблера глубоко в стволе мозга. Щелчок. А следом — отзвук.

Четыре толчка.

Не в ритме моего крошечного сердца. Эти удары идут откуда-то снизу. Из-под пола. Из-под земли. Из-под самого дна времени. Глухие. Тяжёлые. Как удары молота по наковальне в кузнице, которой ещё нет.

Первый — и тело дёргается. Всё. Целиком. Как если бы кто-то ударил по натянутой струне, и струна эта — я.

Второй — дыхание сбивается. Воздух застревает в горле, не доходя до лёгких.

Третий — глубже. Тяжелее. Я чувствую, как вибрирует каждая косточка — не снаружи, а изнутри. Как будто кто-то постучал в каждую клетку отдельно и спросил: ты здесь? ты помнишь? ты готов?

Четвёртый. Последний. После него — тишина. Такая плотная, что в ней слышно, как кровь стучит в собственных висках. Как за окном кто-то идёт по снегу. Как молоко в груди матери набухает, готовясь кормить.

Мир на секунду замирает. И возвращается. Но уже чуть чётче. Чуть теплее. Чуть более — мой.

Я плачу. Не от страха. Не от боли. А потому что тело не знает, как ещё ответить на то, что только что произошло. У него нет слов. Нет жестов. Есть только крик — мокрый, бессмысленный, животный.

— Тише, тише, глупенький, — шепчет она, качая меня. Её ладонь ложится мне на затылок — тёплая, чуть шершавая. — Всё хорошо. Мы здесь. Мы вместе.

Она не слышала ударов. Не чувствовала вибрации. Для неё это просто — ребёнок заплакал. Бывает. Колики. Голод. Мокрая пелёнка.

Но я знаю. Я знаю, что это было не колики.

Знак на правой ладони отзывается тёплым покалыванием. Будто узнаёт этот ритм.

— Смотри, — шепчет она, поднося к моему лицу маленький предмет. — Это твой первый подарок.

Предмет — деревянный медведь. Грубо вырезанный. Покрытый лаком, который пахнет сладковато и чуть химически, как пахнут все новые вещи в этом мире. Я не вижу его чётко — только тёплое пятно, которое пахнет деревом и чьими-то руками. Но я тянусь к нему. Пальцы — те самые, непослушные — хватают воздух. Лапают. Царапают лак ногтями, которые ещё мягкие, как бумага.

Она вкладывает медведя мне в ладонь. Дерево тёплое. Тяжёлое для этих пальцев.

Я сжимаю. Медведь не помещается в кулак. Но я сжимаю. Потому что это — первое, что я могу удержать. Первое, что принадлежит мне в этом мире. Первое доказательство, что руки — мои. Пусть слабые. Но — мои.

«Память... Нужно восстановить доступ. Шаг за шагом. Канал за каналом».

Я закрываю глаза. Внутри — темнота. Но в ней уже мерцают точки. Как звёзды в ночном небе, когда лежишь на спине и смотришь вверх, пока шея не затечёт. Каждая точка — воспоминание. Способность. Знание. Они далеко. Они тусклые. Но они есть. Нужно лишь дотянуться.

Медведь всё ещё в моей руке. Дерево остывает. Лак пахнет всё слабее.

Первое дыхание. Первый свет. Первый выбор.

Где-то далеко, за тысячи километров и десятки лет отсюда, мужчина в сером пальто открывает глаза посреди ночи.

Он чувствует рябь на глади озера времени. Кто-то бросил камень в его воду. Камень весом в целую вселенную.

Он не встаёт. Не идёт к окну. Просто лежит в темноте и слушает, как расходятся круги.

А потом закрывает глаза. И засыпает.

Потому что знает: камень брошен. Круги пойдут сами.

ГЛАВА 3. ПЕРВЫЕ ШАГИ

Дни текут медленно, как мёд, густеющий на осеннем солнце. Для обычного младенца это время роста. Для меня — бесконечная калибровка сломанного инструмента.

Каждое движение — эксперимент. Каждый звук — открытие, которое приходится заново переводить на язык физики.

Сегодня я учусь держать голову.

Звучит просто. Для взрослого — это фон. Для меня — восхождение на Эверест без кислородной маски.

Мышцы шеи дрожат от напряжения. Где-то в глубине черепа гудит тупая боль — вязкая, плотная, будто череп наполняют тёплым песком.

И вдруг — щелчок. Не звук. Ощущение. Позвонок сел на место.

Голова поднялась.

Мир качнулся. Потолок — белое пятно, размытое по краям — вдруг оказался сверху, а не вокруг. Это неправильная геометрия. Нарушение всех законов, к которым я привык за три недели лежания. Желудок дёрнулся. К горлу подкатило тёплое.

Я не закричал. Стиснул дёсны — те самые, беззубые, мягкие — и удержал. Удержал голову. Три секунды. Четыре. Пять.

Потом шея подломилась, и я ткнулся лбом в матрас. Пахло хлопком и чьим-то чужим потом.

Победа. Маленькая, унижительная, вонючая. Но — победа.

К вечеру я учусь хватать.

Воздух над кроватью — пустой. Я тянусь к нему пальцами. Десять слепых отростков, которые не знают, зачем они здесь. Они дёргаются все сразу, как лапки жука, которого перевернули на спину.

Потом — погремушка. Мать положила её рядом. Пластиковая, жёлтая, с шариками внутри.

Я касаюсь её кончиками пальцев. Первое касание твёрдого. После трёх недель воздуха, ткани, кожи — шок. Пластик холодный. Гладкий. Мёртвый. В нём нет линий тока. Нет пульсации. Только инерция массы.

Я сжимаю. Шары внутри гремят — звук проходит по костям запястья, поднимается по предплечью и отдаётся в плечевом суставе странным, неправильным звоном. Колокол из картона — вот что это за звон.

Погремушка выпадает из пальцев. Катится по матрасу. Замирает.

Я смотрю на свою руку. Пальцы всё ещё растопырены. Всё ещё чужие.

Ничего. Завтра снова.

Ночью, когда дом затихает, я прошупываю границы.

Не глазами. Не ушами — слышу плохо, мир пока звучит как радио между станциями: гул, треск, провалы, и вдруг — чей-то голос, который тут же тонет в шуме. Я прошупываю тем, что растёт изнутри, из ствола мозга, из того места, где заканчивается тело и начинается нечто иное.

Сначала — комната. Её стены дышат. Обои впитывают влагу из воздуха, штукатурка отдаёт тепло, накопленное за день. Паркет под полом скрипит сам по себе — не от шагов, а от того, что дерево ссыхается ночью. Каждый скрип — микроземлетрясение, которое проходит через матрас, через мою спину, через позвоночник.

Потом — квартира. Сквозь перекрытия просачиваются чужие сны. Липкие, тревожные пятна на потолке моего восприятия. Сосед сверху ворочается — и по моей коже пробегает волна тепла. Не настоящая. Отражённая.

Потом — двор. За окном. Земля гудит. Низко. Утробно. Биение сердца, которое бьётся не в груди, а где-то глубоко. Может быть, водопровод. Может быть, силовой кабель в трёх километрах. Может быть, сама планета ворочается во сне.

Это мои первые инструменты. Линейки для измерения пространства. И первый горький урок: материя не молчит. Она говорит на языке трения, энтропии и гниения. Я почти забыл этот диалект. Но вспомню.

И тогда — щелчок.

Тихий. Настолько тихий, что человеческое ухо приняло бы его за сквозняк. Но для меня — громче удара колокола.

Из угла комнаты, там, где стена сходится с полом, — холод. Не сквозняк. Не открытое окно. Холод, который имеет геометрию. Правильную. Четырёхгранную. Кубик льда размером с арбуз — вот что стоит в углу.

Температура падает. Каждая пора, каждый волосок на предплечьях — чувствует. Три градуса за секунду. Окно покрывается изморозью — я не вижу, но ощущаю, как стекло сжимается, как влага на его поверхности кристаллизуется в тонкие иглы.

Воздух пахнет иначе. Не детской комнатой. Чем-то сухим, электрическим. Спичка, сожжённая в закрытой банке.

В углу — тьма. Не тень от мебели. Не отсутствие света. Тьма, которая имеет вес. Которая давит на пол. Которая пульсирует — медленно, ритмично, как спящий зверь, который вот-вот откроет глаза.

Я не могу пошевелиться. Мышцы свело. Дыхание застряло где-то в горле, не доходя до лёгких. Сердце колотится — двести, триста ударов в минуту, как у воробья, которого поймали в кулак.

Тьма в углу не имеет формы. Это просто сгусток. Геометрически правильный сгусток абсолютного холода и чего-то ещё — чего-то, что я не могу назвать. Что-то статическое. Золотистое. Весь свет зимнего солнца, сжатый в точку размером с кулак.

И из этого сгустка — голос. Не через уши. Голос, который возникает прямо в стволе мозга, минуя всё, что можно назвать слухом.

— Протокол наблюдения активен. Объект «Младенец» стабилен. Угроза обнаружения... минимальна.

Голос лишён модуляции. Он состоит из чистого белого шума и чего-то ещё — чего-то бархатного, как обертона старой радиолы. Осциллограф, скрещённый с колыбельной.

Я протягиваю руку к стустку. Пальцы проходят сквозь него — нет сопротивления плоти, нет холода, нет тепла. Но кончики покалывает. Мелко. Часто. Тысяча невидимых игл.

Это не тело. Это не машина. Это что-то, что было раньше. Что-то, что перепрыгнуло пропасть времени и теперь живёт не в титановом корпусе, а в моих синапсах. В моём электромагнитном поле. В том месте, где заканчивается плоть и начинается память.

Я не знаю его имени. Не сейчас. Не в этом теле. Но тело — то, что ещё не умеет думать, — узнаёт. Тело сжимается. Не от страха. От чего-то другого. От того, как сжимается щенок, когда слышит голос хозяина через дверь.

Сердце замедляется — двести, сто пятьдесят, сто. Пальцы всё ещё покалывают. В ушах — звон, который медленно тает, как иней на стекле.

И в этой тишине — скрип половицы. Третья от двери. Та самая, которая всегда скрипит. Мама входит на цыпочках.

Я чувствую её раньше, чем вижу: тёплая волна воздуха, которая идёт от её тела. Изменение давления в комнате — дверь закрылась, и воздух стал чуть плотнее.

Она видит меня — сидящего среди подушек, с протянутой рукой, с пальцами, которые всё ещё покалывают. И пустой угол. Ничего больше. Ни иней на стекле. Ни потрескивания люстры. Ни золотистого свечения, которое для неё — просто тень от ночника.

Для неё картина проста: ребёнок играет. Ребёнок не спит. Ребёнок тянется к чему-то невидимому.

— Тише, глупенький, — шепчет она, наклоняясь.

Её ладонь ложится мне на затылок. Тёплая. Чуть шершавая. С той особой текстурой, которая бывает у кожи, часто моющей посуду без перчаток.

Она поправляет одеяло. Её тепло окутывает меня. Температура в комнате поднимается на полградуса. Изморозь на окне тает — не сразу, а медленно, капля за каплей, как слёзы по стеклу.

Она целует меня в лоб. Её губы сухие. Тёплые. Пахнут кожей. Дыханием. Тем, чем пахнет человек, который целый день варил кашу и стирал пелёнки.

Я пытаюсь улыбнуться. Не сорок две мышцы. Просто — уголки губ тянутся вверх, и кожа у глаз собирается. Она видит. Её лицо теплеет. И я чувствую, как внутри что-то разжимается.

И в этом поцелуе — заземление. Не метафизическое. Физическое. Колышек в земле, воздушный шар на нитке. Шар всё ещё тянется вверх. Но колышек держит.

Статика отступает. Изморось тает. Люстра перестаёт трещать. Мир возвращается в свои берега.

Тень в углу растворяется. Не исчезает — растворяется. Слиვაётся с шумом водопроводных труб и гулом холодильника на кухне. Становится частью фона. Часть белизны. Часть тишины.

Но я знаю: он не ушёл. Он просто перестал быть видимым. Он там. В проводах. В трубах. В том пространстве между стенами, где бегают мыши и сохнет пыль.

Он сканирует. Он ждёт. Он держит периметр.

И я не знаю, почему это знание не пугает меня. Почему вместо страха — что-то другое. Что-то похожее на то, что чувствует ребёнок, когда слышит шаги отца за дверью. Не радость. Не облегчение. Просто — факт. Он там. Этого достаточно.

Где-то на грани этого мира и того, что был до него, четверо наблюдают.

Они не разговаривают. Не обмениваются сигналами. Не передают данные. Они просто — смотрят. Четверо. На границе. На той тонкой линии, где реальность ещё не решила, чем она будет завтра.

Один из них — тот, что стоит ближе всех к краю, — медленно кивает. Коротко. По-военному.

Как будто ставит галочку в списке, который ведётся дольше, чем существует время.

Но я уже закрыл глаза. Тело решило за меня. Мышцы шеи, которые сегодня впервые держали голову, теперь отказывают. Веки — чугунные заслонки — падают. За ними — тёплое оранжевое пятно. Пульсирующее. Живое.

Последнее, что я чувствую перед сном, — это ладонь. Моя правая ладонь. Та самая, которая сегодня впервые схватила погремушку. Которая впервые сжала пальцы в кулак. Которая потянулась к сгустку тьмы в углу.

Она тёплая. Живая. Моя.

И я засыпаю. Без формул. Без выводов. Просто — засыпаю. Потому что тело устало. И потому что завтра снова нужно будет держать голову. Хватать воздух. Прощупывать границы. И это нормально. Это и есть жизнь. Не подвиг. Не миссия. Просто — жизнь. Которая пахнет хлопком и чьим-то чужим потом. И маминым дыханием на лбу.

ГЛАВА 4. ПЛАН

Мне восемь месяцев.

Я сижу на коленях у матери. Она варит манную кашу — от неё пахнет пенками и чем-то детским, сладковатым, от чего сводит скулы. Тело помнит этот запах как команду: расслабься. Ты маленький. Тебе не нужно ничего решать.

Но мне нужно.

Я закрываю глаза. Для того чтобы не видеть. Потому что если я буду видеть — буду видеть кухню, кастрюлю, мамину руку с поварёшкой. А мне нужно видеть другое. То, что лежит под.

Под звуками. Под запахами. Под кашей и пенками.

Там — ритм. Чего-то более медленного, чем музыка. Медленнее сердца. Как дыхание дома, который простоял тридцать лет и привык к тем, кто в нём живёт. Скрип половицы — третья от двери. Гул трубы под раковиной. Тиканье часов на стене, которые отстают на четыре минуты каждый месяц.

Это мой инструментарий. Жалкий. Смешной. Восемь месяцев, пальцы не сжимаются в кулак, голова ещё заваливается вбок, если резко повернуть. Но это — всё, что есть.

И я понимаю: этого достаточно.

Нельзя просто сказать.

Я пробовал. Три месяца пробовал. Открывал рот, напрягал гортань, толкал воздух вверх, к губам, к языку, к нёбу. И выходило — мычание. Бульканье. Слюна. Мама улыбалась: «Агу, солнышко». И я хотел кричать. От бессилия.

Потому что я знаю. Я знаю, что будет через шестьдесят четыре года. Я знаю, как выглядит небо, когда дроны накрывают его бесшумной тенью. Я знаю, чем пахнет инкубатор, в котором выращивают детей без рук, без голоса, без имени.

И я не могу сказать об этом. Потому что мне восемь месяцев. И мой язык — кусок плоти, который не помещается во рту.

Значит, не говорить. Стать.

Вирус. Тихий. Медленный. Тот, который проникает в клетку и переписывает её код изнутри. Клетка не знает, что больна. Клетка думает, что сама так решила.

Мне не нужны стадионы. Мне нужна одна женщина. Которая варит кашу. Которая пахнет пенками. Которая наклоняется и шепчет: «Кушай, солнышко». Мне нужна её вера. В то, что я покажу ей.

А потом — один мужчина. Тот, что возвращается вечером и пахнет металлом. Тот, что ест молча и смотрит в тарелку. Мне нужен его взгляд. Просто взгляд, в котором что-то сдвинется.

А потом — один город. Одна страна.

Не за день. За годы. Но — пробивает. Как дерево, которое пробивает асфальт. Терпением. Корнями. Медленными. Упрямыми. Живыми.

Я пробую.

Мама стоит у плиты. Помешивает кашу. Погремушка бубнит из радиоприёмника на подоконнике. За окном — серый день, ноябрь, голые ветки.

Я собираю волю в точку. Где-то за грудиной, там, где у взрослого человека солнечное сплетение, а у младенца — просто тёплое пятно. Сжимаю это пятно. Делаю его маленьким. Плотным. Тяжёлым.

И посылаю.

Ощущение. Тепло. Безопасность. Узнавание. Как будто она вдруг вспомнила что-то очень важное, что всегда знала, но забыла. Забыла давно. В детстве. Когда ещё не было слов.

Импульс выходит из меня — и я чувствую, как он тяжелеет. Как будто я толкаю камень сквозь густую глину, которая сопротивляется не со зла, а по природе. Каждый миллиметр — усилие. Воздух между мной и мамой становится плотным. Я чувствую, как он давит на мои щёки, на лоб, на закрытые веки.

Не доходит.

Импульс повисает в воздухе. Тяжёлый. Беспольный. Я чувствую, как он остывает, теряет форму, рассыпается на отдельные тёплые крошки, которые падают на пол и исчезают.

Мама не обернулась. Помешивает кашу. Погремушка бубнит.

Я пробую снова.

Второй раз — сильнее. В горле — словно кто-то протаскивал наждачную бумагу. Изнутри. Каждая мышца гортани напрягается, тянет, рвётся. Я чувствую, как что-то сжимается за грудиной и отпускает. Сжимается и отпускает.

Мама оборачивается.

К окну. Будто ищет там что-то.

— Странно, — шепчет она сама себе. — Как будто... кто-то позвал.

Она моргает. Протирает глаза. Поворачивается обратно к плите. Каша булькает. Погремушка бубнит.

Не то. Слишком слабо. Слишком... детский.

Я стискиваю дёсны. Те самые, беззубые, мягкие. Сжимаю до боли. И пробую в третий раз.

Что-то другое. Что-то, что у меня есть, а у неё — нет. Узнавание. Не «мама, это я». А «мама, ты помнишь, как пахнет вода, когда ты опускаешь в неё руку и она холодная, но не ледяная, и пальцы покалывают, и ты думаешь: вот оно, вот оно, вот оно».

Импульс выходит. И не тяжелеет.

Он летит.

Мама вздрагивает. Чашка в её руке звякает о блюдце. Звук тонкий, стеклянный, неправдоподобный в этой кухне, где пахнет кашей и старым линолеумом.

Она замирает. Ложка замирает на полпути ко рту. Зрачки расширяются — чуть-чуть, на миллиметр, но я вижу. Я чувствую, как её пульс меняется. Учащается. От чего-то, что похоже на то, как ты просыпаешься среди ночи и не можешь вспомнить, что тебе снилось, но знаешь, что это было важно.

— Ты... ты что-то сказал? — шепчет она, оглядываясь. Будто ищет источник звука.

Я не отвечаю. Не могу. Горло горит. Во рту — привкус железа. Пальцы на руках дрожат.

Но она почувствовала. Ощущение. Как будто кто-то очень знакомый позвал её по имени, но она не может вспомнить — кто. Не может вспомнить — но узнала.

Я знаю, что делаю. Это первый шаг. Первый камень, который я положил в фундамент. И он держит.

Мама ставит чашку. Берёт меня на руки. Прижимает к себе. Её ладонь ложится мне на затылок — тёплая, чуть шершавая.

— Что с тобой, солнышко? — шепчет она. — Ты весь дрожишь.

Я дрожу от того, что только что сделал. От того, что получилось. От того, что между мной и ней протянулась нить. Тонкая. Паутинная. Но — живая.

И в этой нити — факт. Я здесь. Я помню. Я не один.

Вечером возвращается отец.

Я слышу его раньше, чем вижу: ключ в замке — два оборота, не один. Щелчок. Скрип двери. Тяжёлые шаги в коридоре. Ботинки падают на пол — левый, потом правый. Пауза. Шорох куртки на вешалке.

Он входит на кухню. От него пахнет холодным воздухом и металлом — тем самым, который бывает в руках человека, целый день крутившего гайки.

Мама ставит перед ним тарелку. Суп. Хлеб. Соль. Он садится. Берёт ложку. Ест молча. Медленно. Как человек, который слишком устал, чтобы жевать быстро.

Я сижу на коленях у матери. Наблюдаю.

Отец поднимает взгляд.

И наши глаза встречаются.

Одна секунда. Может, две. Не больше. Он смотрит на меня — и я вижу, как в его зрачках что-то сдвигается. Что-то более древнее, чем узнавание. Что-то, что бывает, когда ты идёшь по улице и вдруг чувствуешь, что кто-то смотрит тебе в спину. Оборачиваешься — никого. Но чувство не уходит.

Он хмурится. Опускает глаза. Берёт ложку. Продолжает есть. Но ложка чуть дрожит в пальцах. Едва заметно. Как будто он держит не ложку, а что-то тяжёлое. Что-то, что не может положить обратно.

Мама не замечает. Она помешивает суп. Говорит: «Ешь, пока горячее». Отец кивает. Ест.

А я сижу на коленях у матери и молчу. Потому что мне восемь месяцев. Потому что мой язык — кусок мяса. Потому что я не могу сказать: «Папа, я помню 2062 год. Я помню, как ты умер. Я помню, как умерла мама. Я помню, как горел город. И я здесь, чтобы этого не повторилось».

Но я могу быть. Могу сидеть на коленях и смотреть. Могу протянуть руку и коснуться его предплечья. Могу сжать пальцы — те самые, чужие, непослушные — и почувствовать, как под его кожей бьётся пульс. Медленный. Усталый. Живой.

Ночь. Кровать. Темнота.

Я не сплю. Не могу.

Внутри меня — то, что было утром. Остаток. Осадок. Память о том, что получилось.

Я протягиваю руку в темноту. Пальцы растопырены. Чужие. Но — мои.

И на ладони — то самое пятно. Тёплое. Едва заметное. Будто кто-то дышит под кожей. Медленно.

Завтра снова. И послезавтра. И через месяц. И через год. Каждый день — один импульс. Одна нить. Один камень в фундамент.

Корни.

Я закрываю глаза. Фонарь за окном качается. Тени на потолке бегут. Где-то далеко гудит труба.

И в этом гудении, в этом скрипе, в этом гуле — дом. Мой дом. Тот, который я собираюсь сохранить.

Я засыпаю.

ГЛАВА 5. ТРИ ГОДА: ТАНЕЦ ДУХА И ПЛОТИ

1971 год. Мне три.

Три года — это возраст, когда тело наконец начинает слушаться. Достаточно, чтобы не ронять ложку каждые две минуты. Достаточно, чтобы добежать от двери до кухни и не упасть. Достаточно, чтобы мать перестала говорить «осторожно» каждые тридцать секунд.

Но для меня три года — это возраст, когда я впервые могу делать, а не только хотеть.

И это раздражает. Потому что хотеть я умею давно. А делать — только учусь.

Утро. Мать на кухне. Пахнет кашей и подгоревшим краем оладушка. Тело говорит: расслабься, ты маленький, тебе не нужно ничего решать. Но мне нужно.

Я сижу на табуретке в своей комнате. Ноги болтаются, не доставая до пола. Спина прямая — не потому что я так решил, а потому что если согнусь, упаду. Равновесие у трёхлетнего тела — как у пьяного на палубе. Каждый шаг — переговоры с гравитацией.

Закрываю глаза. И слушаю. Линии напряжения.

Они повсюду. Ток в розетке — низкий, густой гул, как бас-гитара, которой кто-то зажал рот детской ладошкой. Сигнал антенны на крыше — тонкая сетка, от которой чешутся зубы, если слишком долго слушать. Пульс соседа за стеной — медленный, зелёный, сбивающийся каждые сорок секунд. У него аритмия. Он не знает. А я знаю.

Это не знания. Это — ощущения. Как тепло от батареи. Как холод от окна. Как зуд от шерстяного свитера.

Я учусь касаться этих линий. Сначала — кончиком мысли. Как обожжённым пальцем: дотронулся — отдёргнул. Потом — втягивать в себя. Пропускать сквозь нервные окончания. Это похоже на попытку проглотить колючую проволоку. Горло сжимается. Зубы сводит. Во рту появляется привкус ржавчины.

Сегодня я пытаюсь удержать три потока одновременно.

Первый — ток из лампы над кроватью. Тонкая, тёплая нить. Она гудит низко, как шмель в банке.

Второй — радиоволна от соседского приёмника. Трескучая, сухая, с привкусом статики. Она царапает виски изнутри.

Третий — биение сердца матери на кухне. Медленный, тёплый ритм. Он не похож на ток и не похож на радиоволну. Он похож на то, как дышит дом.

Я держу три нити. Пальцы на ногах сжимаются. Табуретка скрипит. Зубы стиснуты так, что в ушах звенит.

Секунда. Две. Три. Четыре.

На четвёртой секунде один из потоков рвётся. Не снаружи. Изнутри. Как перетянутая струна. Отдача бьёт по зубам — резко, как пощёчина. Во рту — медь. Густая. Тёплая. Я прикусил щёку изнутри.

Лампа над кроватью мигает. Гаснет. Включается.

И где-то далеко, за окном, трансформаторная будка меняет голос. Обычно она гудит ровно, как уставший великан. Но сейчас — отбивает размер. Четыре коротких толчка. Пауза. Ещё четыре. Будто старый дирижёр под полом отсчитывает такт невидимой симфонии. Я не слушаю. Не сейчас. Сейчас я держу три нити. Но тело слышит. Тело всегда слышит.

Я открываю глаза. Пальцы разжимаются. Табуретка перестаёт скрипеть.

Ничего. Завтра снова.

После обеда — тело.

Я стою посреди комнаты на одной ноге. Вторая — поджата. Руки раскинуты, как у канатоходца. Пол холодный. Линолеум пахнет мылом и чем-то химическим.

Три секунды. Четыре. Пять.

Мир качается. Не комната — я качаюсь внутри комнаты. Как если бы кто-то наклонил пол на два градуса, а мне не сказал.

Шесть. Семь.

Мышца в икре дёргается. Мелко. Часто. Как у собаки, которой снятся сны. Я чувствую, как она вот-вот откажет.

Восемь.

Пол уходит из-под ноги. Тело падает вбок — медленно, как в замедленной съёмке. Я вижу, как моя рука тянется к стене. Видит. Не успевает.

Удар. Коленка об пол. Ладонь об линолеум. Боль — не острая, а тупая, как если бы кто-то надавил большим пальцем на синяк.

Я сижу на полу. Смотрю на свою коленку. На ней — красное пятно. Не кровь. Просто кожа. Раздражённая.

Не расстраиваюсь. Падение — это тоже данные. Теперь я знаю: мышцы-стабилизаторы ещё не синхронизированы. Связки слишком мягкие для той скорости, с которой разум обрабатывает пространство. Мозг уже принял решение — а тело ещё не получило телеграмму.

Встаю. Отряхиваю штаны. Пробую снова.

Вечер. Подоконник.

Я сижу, грея босые пятки о батарею. Она горячая. Почти обжигает. Но я не убираю ноги. Тепло помогает сосредоточиться. Как якорь. Как точка, от которой можно оттолкнуться.

За окном — двор. Деревья. Качели. Прохожий с собакой. Обычный мир. Трёхлетний мир. Мир, в котором самое большое событие — это когда кошка перелезает через забор.

Я смотрю на этот мир. И впервые за три года чувствую: я могу выйти.

Не ногой. Не телом. Тем, что внутри.

Мысль приходит не как решение. Как разрешение. Как будто кто-то очень тихо сказал: можно.

Я закрываю глаза. Сосредотачиваюсь. И начинаю тянуть.

Не руки. Не ноги. То, что за руками. То, что за ногами. То, что сидит в центре груди и смотрит на мир через чужие глаза.

Тяну.

Соппротивление. Как если бы я пытался вытащить пробку из бутылки, а пробка не хочет. Как если бы тело сказало: куда ты? Ты мой. Сиди здесь.

Тяну сильнее. В висках начинает стучать. Не боль. Давление. Как если бы кто-то надувал воздушный шар внутри черепа.

Ещё. Ещё.

И вдруг — щёлк.

Не звук. Ощущение. Как если бы что-то, что было натянуто три года, наконец отпустило.

Я — снаружи.

Холод. Не мороз. Не ветер. Холод отсутствия. Как если бы из меня вынули что-то тёплое и оставили пустоту. Я — точка. Точка без тела. Без кожи. Без пальцев. Без той коленки, которую я ушиб полчаса назад.

И страх. Не тот, что бывает, когда боишься темноты. Не тот, что бывает, когда мама кричит. А тот, что бывает, когда ты понимаешь: обратной дороги может не быть. Что тело, которое я оставил на подоконнике, — это пустой футляр. И если я не вернусь — оно так и останется. Тёплое. Дышащее. Но пустое.

И — мир.

Он огромен.

Я — сфера. Не точка. Сфера. Диаметр — двести метров. Может, больше. Я не знаю. Я не могу измерить. Я просто есть. И мир есть внутри меня.

Дом — серый кубик. Крыша — тёмное пятно. Двор — зелёный квадрат с коричневыми дорожками. За ним — дорога. За дорогой — ещё дома. Ещё дворы. Ещё деревья.

Я вижу всё. Не глазами. С собой.

И в этом «всём» — голоса. Они требуют внимания. Кричат одновременно:
Кот на крыше. Греется. Мурлычет на частоте, от которой у меня чешется затылок.
Старушка у подъезда. Думает о внуке. В кармане — карамелька, завёрнутая в бумажку.
Мальчик в окне напротив. Рисует самолёт. Грызёт карандаш. Грифель горький.
И ещё — воробей в кустах, грузовик за углом, собака в парке, ветер в листве. Они кричат.
Все. Одновременно. И каждый хочет, чтобы я слушал.

Я не могу.

Сфера начинает дрожать. Как плохо заземлённая антенна. Как стакан, который наполняют водой из семи кранов одновременно. По спине — той, которой у меня нет, — течёт холодный пот. Тот, которого не существует. Но тело на подоконнике чувствует. Я знаю. Я чувствую, как оно там, внизу, вздрагивает.

Ещё секунда. Две.

И я понимаю: хватит.

Если я задержусь ещё на секунду — я потеряю себя. Растворюсь. Стану частью голосов. Стану ветром в листве. Стану воробьём, который ищет крошку. Стану никем.

Я тяну себя обратно.

Возвращение — это боль.

Не острая. Не режущая. А вязкая. Как если бы кто-то вталкивал меня обратно в тело, которое мне не по размеру. Как если бы кожа была тесной. Как если бы кости давили изнутри.

Ноги ватные. Я сижу на подоконнике. Пятки всё ещё на батарее. Но я не чувствую тепла. Не чувствую ничего. Только гул в ушах. И дрожь в пальцах — мелкую, частую, как у человека, который три часа провёл на морозе.

Я смотрю на свои руки. Чужие. Маленькие. Трёхлетние. Но — мои.

И это — самое страшное. Что они мои. Что я вернулся. Что я снова — этот. В этом теле. С этой коленкой, которая болит. С этим ртом, в котором привкус ржавчины. С этими пальцами, которые дрожат.

Я закрываю глаза. И открываю.

— Алёша! Обедать!

Голос матери. Из кухни. Обычный. Тёплый. С той хрипотцой, которая бывает, когда человек целый день говорил и устал.

Я сползаю с подоконника. Ноги не слушаются. Как после долгого сна. Как если бы я проспал не пятнадцать минут, а трое суток.

Иду на кухню. Каждый шаг — переговоры с гравитацией. Линолеум холодный. Пахнет мылом. Пахнет кашей. Пахнет тем, чем пахнет дом, в котором тебя ждут.

— Что с тобой? — мать трогает мой лоб. — На тебе лица нет.

— Я летал, — говорю я. Голос хриплый. Чужой. Как будто горло не моё.

Она смеётся. Треплет волосы. — Опять твои фантазии.

Не фантазии. Реальность. Просто она ещё не видит линий, по которым я хожу. Для неё законы физики — это стены. Для меня — рекомендации.

Я сажусь за стол. Беру ложку. Каша. Пенки. Тот самый запах, от которого сводит скулы.

Ем. Медленно. Каждый глоток — как доказательство, что я — здесь. Что я — в теле. Что я — живой.

Мать ставит передо мной кружку с чаем. Её руки тёплые. Пахнут мукой и чем-то простым. Не парфюмом. Не кремом. Просто кожей. Просто дыханием. Просто тем, чем пахнет человек, который целый день варил кашу.

— Ешь, — говорит она. — Пока тёплое.

Я ем.

Ночь. Кровать. Темнота.

Я лежу на спине. Смотрю в потолок. Он белый. Плоский. Обычный. Но я знаю: за ним — провода. За проводами — крыша. За крышей — небо. За небом — то, что я видел сегодня. Те голоса. Та сфера. Тот холод.

Тело ломит. Не больно. Просто — тяжело. Как если бы кто-то положил на меня одеяло из свинца. Мышцы гудят. В висках — тупая, вязкая боль. Та самая, которая бывает после долгого крика. Только я не кричал. Я тянул.

Я шепчу. Не вслух. Губами. Так тихо, что даже воздух не слышит:

— Я помню. Я начну сначала. Но теперь — по-своему.

И засыпаю. Мгновенно. Проваливаюсь в темноту без сновидений. Как в воду. Тёплую. Густую. Без дна.

Последнее, что я чувствую перед сном, — это свои пальцы. На правой руке. Те самые, которые сегодня дрожали на подоконнике. Которые сегодня тянулись к голосам. Которые сегодня доказали, что я — живой.

Они помнят. Семь голосов. Холод. Тот щёлк, после которого всё стало другим.

Завтра снова. К восьми голосам. К девяти. К десяти. Пока не станет слишком много. Или пока не станет достаточно.

Я не знаю. Но я узнаю.

ГЛАВА 6. ПЯТЬ ЛЕТ: ЯЗЫК ЛИНИЙ

1973 год. Мне пять.

Пять лет. Тело больше не враг. Пальцы слушаются. Язык помещается во рту и даже умудряется произносить слова без привкуса ржавчины. Почти все слова. Кроме тех, которые начинаются на «р» — они всё ещё царапают нёбо, как гвоздь по стеклу.

Но главное не это. Главное — я научился говорить на другом языке. Не на английском. Не на французском. На языке полей.

Утро пахнет манной кашей и мокрой шерстью — соседский пёс просунул морду под забор детского сада и дышит на нас тёплым, влажным, пахнущим вчерашней колбасой. Я стою у окна. Смотрю, как воспитательница считает детей. Раз. Два. Три. Семнадцать. Восемнадцать. Девятнадцать. Губы шевелятся. Пальцы загибаются.

И я слышу её.

Тем, что растёт из груди — из того тёплого пятна за грудиной, которое я научился сжимать в точку ещё в восемь месяцев. Оно пульсирует. И каждый человек вокруг — как радиостанция. Своя частота. Свой голос. Своя помеха.

Воспитательница стучит, как метроном. Ровно. Сухо. Без пауз. «Порядок. Порядок. Проверить шкафчики. Порядок. Порядок. Не дай бог кто-то упадёт. Не дай бог кто-то заплачет. Не дай бог». А под этим стуком — глубоко, на самом дне, там, где метроном уже не достаёт, — живёт холодное. Липкое. Как смола, которая застыла в банке, и ложку не воткнёшь. Страх. Не громкий. Тихий. Тот, который не кричит, а шепчет: «А вдруг я не справлюсь? А вдруг меня посадят? А вдруг кто-то из них упадёт и разобьёт голову об асфальт, и я буду стоять рядом, и мои руки будут в крови, и я не буду знать, что делать».

Я не подхожу к ней. Не обнимаю. Не посылаю волну покоя. Просто смотрю. И запоминаю. Страх — это тоже линия. Просто линия, которая дрожит.

В углу сидит Ваня.

Он молчит. Катает машинку по подоконнику — туда-сюда, туда-сюда, — и колёса скрипят на каждом повороте. Тихо. Монотонно. Как скрип качели, на которой никто не качается. Его лицо ничего не говорит. Рот закрыт. Брови ровные. Глаза смотрят в пол.

Но его аура кричит.

Не громко. Не визгливо. А так, как кричит ребёнок, которого заперли в тёмной комнате, и он уже не верит, что кто-то придёт. Тихо. На одной ноте. Без надежды на ответ. «Меня никто не любит. Мама опять опоздала. Мама всегда опаздывает. Может быть, она не придёт. Может быть, она забыла. Может быть, меня нет».

У меня болит затылок. Физически. Как будто кто-то вдавил большой палец в то место, где череп встречается с шеей. Я подхожу. Сажусь рядом на корточки — ноги затекают, тело ещё не привыкло к этим быстрым переходам из стоя в сидя. Достаяю из кармана карандаш. Обычный. Жёлтый. Обгрызенный с одного конца.

— Нарисуй дракона, — говорю я.

Ваня поднимает глаза. Смотрит на меня. На карандаш. Снова на меня.

— Какого?

— Любого. Который живёт у тебя внутри.

Он берёт карандаш. Пальцы дрожат. Мелко. Часто. Рисует. Криво. Кривобоко. С крыльями, которые больше туловища. И улыбается. Щербато. Неуверенно. Как будто забыл, как это делается.

Его поле светлеет. Не сразу. Медленно. Как рассвет — не вспышка, а постепенное заполнение. Крик тише. Нота ниже. Пульсация замедляется до нормы.

Я встаю. Ноги затекают. Иду дальше.

Мама.

Её энергия — тёплый свет лампы накаливания. С той самой нитью, которая светится, потому что ей больно. Которая греет, потому что горит.

Я чувствую её издалека. Из другого конца двора. Из-за забора. Из-за трёх домов и двух перекрёстков. Тёплое пятно, которое пульсирует ровно, как дыхание спящего. Но иногда — иногда — в нём мелькают трещинки. Тонкие. Тёмные. Как трещины на стекле, в которое ударили камнем, но оно ещё держится.

«Хватит ли денег до аванса? Что за сыпь была у него вчера на животе? А вдруг это не сыпь? А вдруг это что-то другое? А вдруг я не замечу? А вдруг станет поздно?»

Я обнимаю её за ноги. Утыкаюсь носом в фартук. Пахнет мукой. Подсолнечным маслом. И тем самым — молоком, крахмалом, лавандой. Якорь. Мой якорь. Тот, который держит, когда всё остальное плывёт.

Посылаю волну. Густую. Сонную. Тёплую. Как одеяло, которое только что сняли с батареи. «Всё хорошо. Ты не одна. Я здесь. Я помню. Я не дам тебе упасть».

И она верит. Не потому что я сказал. А потому что тело услышало раньше разума. Выдыхает. Плечи опускаются. Трещинки затягиваются — медленно, как рана под пластырем. Не исчезают. Но перестают болеть.

Она гладит меня по голове. Пальцы пахнут тестом.

— Иди играй, солнышко.

Я иду. Но не играть. Работать.

Вечер. Подоконник.

Пятки на батарее — горячо, почти обжигает, но я не убираю. Тепло помогает сосредоточиться. Как точка, от которой можно оттолкнуться.

За окном — двор. Серый. Ноябрь. Голые ветки царапают стекло. Где-то лает собака. Где-то скрипит качель. Обычный мир. Пятилетний мир. Мир, в котором самое большое событие — это когда соседский пёс просовывает морду под забор.

Я закрываю глаза.

И начинаю тянуть.

Тяну медленно. Осторожно. Как в прошлый раз — на подоконнике, в три года. Только тогда я вытянул сферу двести метров. Сейчас — больше. Сейчас я знаю, как не порвать нить.

Тело растворяется. Не исчезает — растекается. Как капля чернил в стакане воды. Сначала я — капля. Потом — облако. Потом — просто цвет в жидкости.

Первое, что я чувствую, — медь.

Не вкус. Вибрацию. Медные вены радиоволн, которые бегут под крышами, под стенами, под асфальтом. Они гудят — низко, утробно, как бас-гитара, которую кто-то зажал в шкафу. Я вхожу в них. Не протискиваюсь — становлюсь. Становлюсь сигналом, который шипит между антеннами на крыше универмага. Становлюсь частотой, которая несёт чужие голоса через ночь.

Мир меняется.

Я вижу его через стеклянный глаз уличного фонаря. Мокрый асфальт — как звёздное небо, перевёрнутое вверх ногами. Тени ползут, как живые. Капли дождя бьют по плафону — тук, тук, тук, — как пальцы по барабану. Каждый удар — нота. Каждый отскок — пауза. И в этой паузе я слышу город. Не шум. Дыхание.

Потом — телефон. Мамин. Дисковый. С облезлой краской на цифре «три». Она разговаривает с подружкой. Я протискиваюсь сквозь мембрану динамика — тесно, вязко. И слышу её голос изнутри. Не снаружи. Изнутри.

«Лёша сегодня сам оделся. Да, всё сам. Куртку, шапку, ботинки. Даже шнурки завязал. Но он странный, Валя. Такой добрый, что страшно. Как будто он не ребёнок. Как будто он... не знаю. Как будто он видит меня насквозь».

Пауза. Шорох. Щелчок диска.

«Иногда мне кажется, что он жалеет меня. Понимаешь? Жалеет. Как взрослый жалеет ребёнка. А ему пять. Пять лет, Валя».

Я выхожу. Не плавно. Рывком. Как будто кто-то выдернул меня из тёплой воды и бросил на холодный кафель.

Обратный переход бьёт по зубам. Тело возвращается — не целиком, а по частям. Сначала пальцы. Потом колени. Потом живот. Потом голова. Каждая часть приходит с болью — тупой, вязкой.

Мышцы сводит. Крупной дрожью. На лбу — ледяной пот. Во рту — привкус крови. Я прокусил щёку изнутри. Снова. Третий раз за месяц.

Но я улыбаюсь. Разбитыми губами. С кровью на подбородке.

Получилось.

Четыре шага. Четыре мира. Четыре точки зрения. Медные вены. Стеклянный глаз. Мембрана телефона. И тело, которое болит, но держит.

Я шевелю пальцами. Каждый — отдельно. Как будто проверяю, все ли на месте.

Ночь. Кровать. Темнота.

Я лежу на спине. Смотрю в потолок. Он белый. Плоский. Обычный. Но я знаю: за ним — провода. За проводами — крыша. За крышей — небо. За небом — то, что я видел сегодня. Медь. Стекло. Мембрана. Голос мамы изнутри телефона.

Тело гудит. Не болью. Усталостью. Той самой, которая оседает в костях после долгой работы и не уходит, пока не заснёшь. Мышцы ноют. За глазами давит — тупо, вязко.

Перед сном я задаю вопросы. Не вслух. Внутри. Так тихо, чтобы даже стены не услышали. «Кто я?»

Тишина. Плотная. Бархатная.

«Зачем я здесь?»

Тишина. Но другая. Не пустая. Наполненная.

«Что я должен сделать?»

Тишина. Самая глубокая. Та, в которой рождаются ответы, но не звучат. Потому что ответы — это не слова. Ответы — это то, что ты делаешь, когда слов нет.

И тогда — отклик.

Как тепло, которое поднимается из солнечного сплетения в грудь. Медленно. Густо.

«Ты помнишь. Просто ещё боишься вспомнить целиком».

Это резонанс самой тьмы перед глазами. Той тьмы, которая не пугает. Которая ждёт. Которая знает, что ты придёшь, но не торопит.

Я закрываю глаза. В темноте век мерцают линии. Красные. Синие. Золотые. Они сплетаются в узор — не созвездий, не карт, не схем. А чего-то более древнего. Чего-то, что я знал наизусть. Когда-то. До того, как стал этим. До того, как стал пятью годами и манной кашей и подоконником с горячей батареей.

И вдруг — из самой структуры тишины — проступает музыка.

Из той щели, которая бывает между вдохом и выдохом. Между ударом сердца и следующим. Между словом и тем, что оно значит.

Четыре ноты.

Они звучат иначе, чем в тот первый раз. Не печально. Не далеко. Здесь. Близко. Как будто кто-то играет не на органе в пространстве без стен, а на расстроенном пианино в соседней комнате. Дверь приоткрыта. Ты слышишь каждую фальшивую ноту. И от этого — не больно. А узнаваемо. Как голос, который ты не слышал сто лет, но узнаёшь с первого слога.

До-диез минор. Пассакалия.

Но теперь в ней — пауза. Та самая, которой не было раньше. Между третьей и четвёртой нотой — тишина. Короткая. В один вдох. И в этой паузе я слышу что-то новое. Что-то, чего раньше не было. Не мелодию. Вопрос.

Я не помню, где слышал её в последний раз. Разум не помнит. Но тело помнит. Тело узнаёт эти ноты, как узнаёт собственное имя. Не головой. Костями. Кровью. Тем местом, где заканчивается мысль и начинается что-то другое.

Ноты звучат. И уходят. Не растворяются — уходят. Как гость, который заглянул на минуту, кивнул и вышел. Не хлопнул дверью. Не сказал «до свидания». Просто — вышел. И оставил после себя запах. Тихий. Едва уловимый. Как запах того, кто был здесь до тебя.

Я засыпаю. Не мгновенно. Медленно. Как тонет камень в густом иле — не падает, а погружается. Сантиметр за сантиметром. Пока не становится частью целого — частью реки, что течёт наверху.

Утро. Кухня. Каша. Пенки.

Мама ставит передо мной книгу. Потрёпанный том. Обложка мягкая, загнутая по углам. Пахнет пылью, клеем и чьими-то чужими руками, которые листали её до меня. На обложке — «Астрономия для детей». Буквы выпвели. Картинка с ракетой облупилась.

— Из библиотеки, — говорит мама. — Тётя Валя дала. Сказала, тебе понравится.

Я открываю. Страницы шелестят — сухо, как осенние листья под ногами. Картинки. Планеты. Орбиты. Стрелочки. Подписи.

И на странице про Сатурн — я вижу.

Реальность.

Кольца вращаются. Прямо над бумагой. Медленно. Величественно. Как хоровод, который не останавливается миллионы лет. Их свет тянется ко мне — вязкие золотые нити, которые пульсируют в такт чему-то, что я узнаю. В такт тем четырём нотам.

Я могу коснуться их мыслью. Ощутить гравитацию ледяных осколков. Холод. Тяжесть. Возраст. Миллиарды лет, сжатые в кольцо шириной с ладонь.

— Что ты делаешь? — Мама заглядывает через плечо. Пахнет мукой. Подсолнечным маслом. Тревогой. — Суп остывает.

— Смотрю на звёзды, — отвечаю я. Не открываю глаз. Не могу. Если открою — нити оборвутся. И кольца снова станут картинкой.

— Они же в книге, глупый.

— Нет. Они здесь.

Она вздыхает. Я чувствую её выдох на затылке — тёплый, пахнувший чаем. В её голове — привычное: «Фантазёр. Весь в дедушку. Вырастет — станет инженером. Или поэтом. Или тем и другим сразу, что ещё хуже».

Она переворачивает страницу. Пальцем. Сверху вниз. Как штору — резко, без предупреждения.

И связь рвётся.

Кольца гаснут. Нити обрываются. Золотой свет уходит — не медленно, а сразу, как лампочка, которую выключили. Страница снова становится страницей. Картинка — картинкой. Сатурн — кружочком с палочками.

Но я знаю.

Я не фантазирую. Я вспоминаю масштаб.

Я закрываю книгу. Обнимаю её. Прижимаю к груди. Обложка пахнет пылью и чужими руками. И чем-то ещё. Едва уловимым. Как воспоминание о чьей-то улыбке. Как запах, который ты помнишь, но не можешь назвать.

Озоном. Далёким. Холодным. Запахом того пространства, где кольца вращаются по настоящему. Где нет бумаги. Нет картинок. Нет мамы, которая говорит: «Суп остывает».

Там есть только вращение. И тишина. И те четыре ноты, которые звучат где-то на самом дне. С паузой между третьей и четвёртой. С вопросом, на который я ещё не знаю ответа.

Я ставлю книгу на полку. Рядом с другими. С «Азбукой». С «Колобком». С «Мойдодыром».

И иду есть суп.

Потому что мне пять. Потому что суп остывает. Потому что если я не съем его сейчас, мама скажет: «Опять холодный будешь есть». А холодный суп — это невкусно.

А за окном — серый день. Ноябрь. Голые ветки. И где-то очень далеко, за домами, за перекрёстками, за городом, трансформаторная будка гудит. Ровно. Устало. Как великан, который засыпает на ходу, но ещё держится. Потому что если ляжет — не встанет.

Я не слушаю. Не сейчас. Сейчас я ем суп.

Но тело слышит. Тело всегда слышит.

ГЛАВА 7. ПЕРВЫЕ СОЮЗНИКИ

1975 год. Мне семь.

Лето пахнет нагретым асфальтом и тополиным пухом, который лезет в нос и щекочет так, что хочется чихнуть, но не можешь. Я иду по парку. Кеды скрипят по гравию. В кармане — обгрызенный карандаш и три желудя, которые я нашёл у дуба. Зачем — не знаю. Просто нравятся. Тяжёлые. Гладкие. Живые.

Я ищу не людей. Не машины. А тех, кто тоже слышит линии сквозь шум повседневности. Тех, кто слышит, как гудит трансформаторная будка за углом. Как скрипит качель, на которой никто не качается. Как дышит дом, который простоял тридцать лет.

Я ищу тех, кто жужжит не в такт.

И я нахожу.

Она сидит на скамейке. Девочка. Тугие пшеничные косички, перевязанные выцветшими лентами. Книга о деревьях в мягких обложках — страницы зачитаны до дыр, углы загнуты. Колени в царапинах. На левом — пластырь, который уже отклеивается.

От неё пахнет нагретой солнцем корой и полевым мёдом. Не машинным. Не электрическим. Не человеческим в привычном смысле. Запах чего-то, что растёт само. Без разрешения. Вопреки асфальту.

Я подхожу. Сажусь рядом. Кеды скрипят по гравию.

Она не поднимает глаз. Переворачивает страницу. Пальцы в пятнах зелёнки — она недавно упала с велосипеда и ободрала колени, и кто-то замазал ей ранки.

— Ты видишь их? — спрашиваю я тихо.

Она поднимает глаза. В её зрачках мелькает золотой отблеск. Тот самый, что я привык видеть в зеркале.

— Вижу, — шепчет она. Звук едва покидает её гортань. Как будто она боится, что воздух унесёт слово и кто-то его поймает. — Но не всем можно говорить. За нами смотрят.

Мы сидим. Не касаясь друг друга коленями. Но наши поля переплетаются мгновенно, как корни старых дубов под землёй. Не через слова. Не через жесты. Через то, что под словами. Под жестами. Под кожей.

Она рассказывает. Не мне — воздуху. Странице книги. Своим царапинам на коленях.

Как слышит, когда клён перекачивает сок вниз, готовясь к зиме. Густой, тёплый звук. Как кровь в ушах, только медленнее.

Как чувствует, когда вольфрамовая нить лампочки в аптеке на углу истончается. Тонкий, высокий звон, от которого чешутся зубы. Ещё день-два — и лопнет.

Как видит сны о местах, где никогда не была. Стеклянные башни. Фиолетовое небо. Река, которая течёт вверх.

Я киваю. Горло перехватывает. Облегчение — острое, как лезвие бритвы. Такое, что хочется заплакать. Не от горя. От того, что ты не один. От того, что кто-то ещё слышит. Кто-то ещё видит. Кто-то ещё жужжит не в такт.

— Я тоже, — говорю я.

Она улыбается. Щербато. Неуверенно. Как будто забыла, как это делается.

Мы решаем проверить границы возможного.

Место: заброшенная телефонная будка у автобусной остановки. Стекло разбито. Внутри — заскорузлые надписи, выцарапанные тупым лезвием ножа, запах застарелой мочи и чего-то сладковатого, как гниющее яблоко. Трубка болтается на витом шнуре, как повешенная.

Задача: заставить лампочку под потолком загореться без электричества. Провод перерезан. Патрон с пустой колбой. Чистая работа с частотой.

Она закрывает глаза. Прислоняет лоб к холодному стеклу. Её лицо становится серьёзным, как у хирурга. Аорта на тонкой шее пульсирует так сильно, что я вижу это затылком.

Я поддерживаю. Направляю поток из своих линий в её поле. Резонанс. Чужая частота сопротивляется — будто толкаешь камень сквозь мокрую глину, которая сопротивляется не со зла, а по природе. Каждый миллиметр — усилие. В висках начинает стучать. Не боль. Что-то другое. Что-то, что было старше боли.

Лампочка моргает.

Раз.

Другой.

И вспыхивает. Тусклым, болезненным оранжевым светом. Не электрическим. Живым. Как будто внутри стекла кто-то зажёл спичку.

Запах раскалённого стекла. Озон. И что-то ещё — едва уловимое. Как запах того, кто был здесь до тебя.

Девочка смеётся. Звук похож на звон разбивающегося хрусталя.

— Получилось!

Но смех обрывается. Резко. Как будто ей заткнули рот.

Сначала — холодок вдоль позвоночника. Мелкий. Частый. Волосы на руках встают дыбом.

Потом — запах. Жжёная изоляция. Концентрированный. Густой. Тот самый запах, который я помню с берега озера. Из другой жизни. Из того дня, когда воздух стал гуще и тело отказалось идти дальше.

Дышать становится трудно.

Мы переглядываемся. Оба понимаем. Физика этого мира отреагировала на нас. Баланс сместился.

Из-за угла газетного киоска выходит мужчина.

В сером пальто.

Он смотрит прямо на нас. Взгляд тяжёлый. Лишённый человеческих эмоций. Он стоит неподвижно — и от этой неподвижности воздух вокруг него становится вязким, как смола, из которой невозможно вырваться.

Я узнаю его. Не по лицу. По запаху. По тому, как он стоит. По тому, как он кивнул — коротко, по-военному — и растворился в тумане. В другом месте. В другом времени. На берегу озера, которого ещё не существовало.

Он здесь. Он всегда здесь.

Мы бросаемся бежать одновременно. Даже не сговариваясь. Сердце колотится где-то в горле. Кеды скользят по гравию.

Я хватаю её сознание. Как мокрую, скользкую руку. И тяну в сеть радиоэфира.

Телепортация вдвоём — не то же самое, что одному.

Плоть протестует. Кости гудят. Кожа горит. Мы становимся нитями. Бесконечными. Тонкими. Каждый атом тела превращается в сигнал, и сигнал летит, и боль в суставах становится ослепительной.

Потом — пустота. Белая. Звонящая. Ни верха. Ни низа. Ни запаха. Ни звука. Только белый шум, который не шумит, а молчит. Молчит так громко, что лопаются перепонки.

Мы мелькаем помехами в экранах телевизоров. Пролетаем по медным жилам телефонных кабелей. Каждый переход отнимает силы калёным железом. Я чувствую, как тает запас энергии. Как мысли становятся тягучими, как воск. Как края сознания начинают крошиться.

Девочка всхлипывает мне прямо в лицо, которого нет. Тонко. Испуганно. Как щенок, которого тащат за шкирку.

И вдруг — падение.

Мы вываливаемся из эфира, как пробки из бутылки. Падаем в прелую прошлогоднюю листву. За кустами сирени. Далеко от будки. Далеко от мужчины в сером пальто.

Листва пахнет гнилью и чем-то сладким, как перезревшие яблоки. Ветка сирени хлещет меня по щеке. Я не чувствую.

Она дрожит. Прижимает ладони к вискам. Из носа течёт тонкая струйка крови.

— Голова... кружится... Меня сейчас стошнит...

Я тоже едва держусь на ногах. Перед глазами плывут тёмные пятна. Мышцы рук сводит мелкой судорогой. Во рту — привкус олова. Не железа. Олова. Как если бы я лизнул старую ложку, которую сто лет не доставали из ящика.

— Он... он видел нас? — шепчет она.

— Не уверен, — отвечаю я. Каждое слово царапает горло. Язык распух. — Но теперь он знает. Он учуял вспышку.

Мы сидим молча. Дыхание выравнивается. Пульс перестаёт бить в уши кузнечным молотом. Где-то далеко лает собака. Где-то скрипнула дверь. Обычный мир. Семилетний мир. Мир, в котором самое большое событие — это когда кошка перелезает через забор.

Но мы уже не в этом мире.

Только тогда я замечаю: на правой ладони, поверх узора из трёх лепестков, проступил новый след. Слабый. Ощутимый. Термический ожог в форме полумесяца. Там, где я держал её руку.

Ожог не болит. Он пульсирует. В том же ритме, что и пятно. Но на полтакта быстрее. Как будто две мелодии, написанные в разных ключах, пытаются найти общий тон.

Вечер. Дом.

Отец ругается на кого-то по телефону в коридоре. Голос глухой, сдавленный, как будто он говорит в подушку. Мама ставит на плиту кастрюлю. Пар оседает на обоях. Пахнет борщом и укропом.

Я сижу в своей комнате. Прижавшись спиной к батарее. Батарея холодная. Почти обжигает. Но я не убираю спину. Холод помогает сосредоточиться. Как якорь. Как точка, от которой можно оттолкнуться.

За окном — двор. Летний вечер что-то шепчет сам себе.

Я закрываю глаза. В темноте за веками разворачиваю карту города. Линии. Узлы. Точки. Золотые. Серые. Чёрные.

Теперь я знаю: те, кто охотятся в тишине, почувствовали не только меня. Сегодня они учуяли и её. И то, что случилось у будки — лишь первая разведка боем.

Скрипит половица. Третья от двери. Мама входит.

— Ты чего в темноте сидишь? — спрашивает она. Голос тёплый. С той хрипотцой, которая бывает, когда человек целый день говорил и устал.

— Так, — отвечаю я. — Думаю.

Она ставит на стол кружку с чаем. Её руки пахнут мукой и укропом.

— Думай, — говорит она. — Но не забывай пить чай.

Дверь закрывается почти беззвучно.

Я беру кружку. Чай горячий. Обжигает губы. Пахнет мятой и чем-то простым. Не парфюмом. Не кремом. Просто кожей. Просто дыханием. Просто тем, чем пахнет человек, который целый день варил борщ.

Я пью. Медленно. Каждый глоток — как доказательство, что я — здесь. Что я — в теле. Что я — живой.

И в этом тепле, в этом запахе — я понимаю: мы уже не одни.

Я сжимаю правую ладонь в кулак. Полумесяц ожога и три лепестка пятна отзываются вместе — тёплым, почти живым покалыванием. Будто кто-то невидимый поставил на моей руке печать и сказал: «Первая нить протянута. Не дай ей порваться».

И тут же — холодное, как озноб: но и те, кто плетёт сети из чужой боли, тоже проснулись.

Я ставлю кружку на стол. Чай остывает. За окном слышно, как перешептываются листья.

Я смотрю на карту города, которая всё ещё горит за веками. Золотые точки. Серые узлы. Чёрные пятна, которые множатся. И одна новая точка — на окраине, в частном секторе. Тёплая. Пульсирующая. Живая.

Нас уже двое. И где-то там — третий. Или четвёртый. Или тысяча. Но хотя бы — не ноль.

Я допиваю чай. Ставлю кружку. Ложусь на кровать. Не на спину. На бок. Подтягиваю колени к груди. Как ребёнок, который прячется от мира в собственной скорлупе.

За окном темнеет. Где-то далеко гудит труба. Где-то лает собака и замолкает. Где-то мама моет посуду, и звон тарелок долетает сюда — тихий, далёкий, как музыка из чужого окна.

Я не считаю нити. Не плету планы. Не слушаю линии.

Просто лежу. И дышу. И чувствую, как полумесяц на ладони пульсирует — тихо, ровно, в такт чему-то, что я ещё не знаю. Но узнаю. Завтра. Или послезавтра. Или через месяц.

А пока — чай. И борщ. И мама, которая сказала: «Думай. Но не забывай пить чай».

И полумесяц. Тёплый. Живой. Мой. Он пульсирует — и где-то далеко, на окраине, в частном секторе, другая точка отвечает ему. Тихо. Ровно. В контрапункт. Как два ручья, которые текут рядом, но каждый — по своему руслу. И встречаются только там, где земля сама решила их свести.

Я закрываю глаза. И не засыпаю. Просто — слушаю. Как пульсирует полумесяц. Как пульсирует точка на окраине. Как пульсирует что-то третье — где-то далеко, за городом, за лесом, за рекой.

Нас уже двое. И где-то там — третий.

Завтра снова нужно будет искать. И это — жизнь.

ГЛАВА 8. ПОКАЗ

1975 год. Мне семь.

Школа. Я вижу её из окна кухни — серое здание за тополями, с облупившейся краской на подоконниках и звонком, который слышно за три квартала. Тело сжимается раньше, чем я успеваю подумать. Не страх. Память. Тридцать лет в прошлой жизни. Семь — в этой. А сжатие одно. То самое, из аудитории. Из третьего ряда. Когда не встал. Когда не вышел.

Я не пойду туда.

Не потому что боюсь. Тело знает почему. Тело помнит, чем кончается люминесцентный свет над партами. Чем кончается запах мела, ввевшийся в рукава. Чем кончается голос, который говорит: «Ты не вписываешься».

Я не пойду. И мне нужен документ. Железный. Легальный. Такой, чтобы вопрос закрылся раз и навсегда.

Но сначала — мама.

Она сидит у окна. Кружка в обеих ладонях — греет руки, хотя чай давно не горячий. За стеклом — первый снег. Тонкий, неуверенный, который тает, не долетев до земли.

Я чувствую её тревогу. Не по лицу. По тому, как она ставит кружку обратно на блюдце — чуть сильнее, чем нужно. По тому, как пальцы сжимают край скатерти. По тому, как она смотрит на снег и не видит его.

«Надо отдать его в школу. Так положено. Все дети ходят. А вдруг он отстанет? А что скажут люди? А вдруг я плохая мать?»

Я подхожу. Беру её за руку. Не говорю ни слова.

И показываю.

Ту структуру, что живёт у меня внутри. Ту, которую я никогда никому не показывал. Ту, которую в прошлой жизни унёс с собой в могилу, потому что не знал, как сказать. Как довериться. Как не промолчать.

Я раскрываю грудь. Не физически. Тем, что за грудью. Тем, что сидит в центре и смотрит на мир чужими глазами. Вынимаю это. Кладу ей в ладонь. Как вынимают сердце. Только это не сердце. Это то, что сердце играет, когда думает, что никто не слышит.

Я вынул музыку и положил её в мамину ладонь.

Показываю ей холод. Тот самый, который был на подоконнике в три года. Когда я вытянул сферу и чуть не растворился в чужих голосах. И тепло. То, которое было после. Когда её губы коснулись моего лба и изморозь на окне стала таять.

Показываю ей линии. Медные вены радиоволн. Стекланный глаз фонаря. Мембрану телефона, через которую я слышал её голос изнутри. Показываю, как деревья шепчут корнями под землёй. Как трансформаторная будка за углом отбивает такт — четыре коротких толчка, пауза, ещё четыре. Как скрипит половица — третья от двери. Как тикают часы, которые отстают на четыре минуты.

И это больно.

Не ей. Мне. Потому что показать себя — это значит дать нож. И надеяться, что не ударят. А в прошлой жизни я не показал себя никому. Не остановился. Не спросил. Не сказал. И это меня убило. Не дроны. Не радиация. Молчание.

Мама замирает.

Не чашка. Не ложка. Она сама. Пальцы на кружке белеют. Дыхание останавливается где-то между вдохом и выдохом. Глаза открыты, но взгляд — где-то далеко. За панельными стенами. За кухней. За первым снегом. За тем миром, в котором она прожила двадцать семь лет и думала, что знает, как он устроен.

Знак на правой ладони теплеет. Не колется. Не пульсирует. Просто теплеет. Медленно. Как ладонь, которую кто-то держит в своей. И в этом тепле — не приказ. Не подтверждение. Просто присутствие. Кто-то на той стороне провода не кивнул. Не сказал «продолжай». Просто — есть. Дышит. Ждёт.

Минута. Час. Вечность. Здесь это не важно.

Когда она возвращается, её руки дрожат. Мелко. Часто. Так дрожат руки, когда держишь что-то очень горячее и не можешь отпустить. Я чувствую, как она перебирает в голове аргументы. Взвешивает. Отбрасывает. Снова взвешивает.

Но потом всплывает воспоминание. Не моё. Её.

Учительница. Третий класс. Мел на доске. И голос — ровный, учительский, безжалостный: «Ты не вписываешься. Ты слишком странная».

И приходит твёрдость. Та самая, которая бывает у матери, когда кто-то говорит её ребёнку: «Ты не такой».

— Теперь ты меня понимаешь? — спрашиваю я. Голос садится. Срывается. Как будто я говорю не своим горлом, а чужим, которое мне одолжили на минуту.

— Да, — шепчет она. И в этом «да» — то, для чего нет слова. То, что бывает между матерью и ребёнком, когда слова заканчиваются и остаётся только запах. Мука. Тесто. Укроп. И что-то ещё. Едва уловимое. Как запах того, что завтра будет другим.

Коридор пахнет камфарой и уставшей кожей. Стены — зелёные, облупившиеся. На полу — линолеум, который скрипит под каждым шагом. Плакаты: «Мойте руки перед едой», «Прививка — ваш друг».

Врач сидит за столом. Халат белый, с пятном от шариковой ручки на кармане. Очки. Седина на висках. От него пахнет камфарой и усталостью, которая въелась в кожу за тридцать лет работы.

На секунду его взгляд становится острым. Профессиональным. Он хочет спросить: «Что с тобой не так, мальчик?» Но тут же моргает. Качает головой. Улыбается дежурно.

Я вхожу. Не мягко. Не сквозь резонанс. Через тело. Через то, что у меня есть вместо рук. Через то, что растёт из груди и не спрашивает разрешения. Я касался мембраны телефона в пять лет. Касался медных вен радиоволн. Касался стекла фонаря. А теперь — живой человек. Который не знает, что я в него вхожу. И от этого мне тошно.

Касаюсь его зрительного нерва. Для него это просто блик на очках. Для меня — поток данных. Я вижу потоки света, которые его мозг интерпретирует как моё лицо. И меняю частоту. Как сдвинуть фокус камеры. Мои щёки бледнеют. Кожа становится почти прозрачной. Под глазами залегают тени. Взгляд расфокусируется. Дыхание сбивается на рваные паузы.

Удерживать этот морок сложно. Как балансируешь на канате над пропастью. Каждый нерв натянут. Я чувствую, как невидимый поток гомеостаза пытается сбить меня, вернуть показатели тела к норме. В висках стучит. Пальцы ледяные.

И подключаю эмоции. Свои. Слабость. Хрупкость. То, что бывает, когда ты стоишь на краю и не знаешь, упадёшь или полетишь. Он чувствует мою слабость. Видит перед собой не хулигана. А хрупкий сосуд, готовый разбиться от одного громкого звука.

Когда я выхожу из его поля, в ушах стоит высокий звон. Приходится опереться о стену, чтобы переждать головокружение. Колени ватные. Как после долгого сна. На языке — горький привкус, как после долгого крика. Тот, который остаётся, когда горло уже не может, но ты всё ещё пытаешься сказать что-то важное.

Он осматривает меня. Хмурится. Пишет в карте: «Астенический синдром. Постинфекционная слабость. Рекомендовано домашнее обучение. Риск осложнений при стрессе».

Мне всё равно, что он написал. Важно, что у мамы теперь есть документ. Железный. Легальный. Закрывающий вопрос школы раз и навсегда.

Но мне тошно. Не от головокружения. А от того, что я вошёл без спроса. И он не узнает. Никогда.

Вечер. Дом.

Мама ставит передо мной кружку с молоком. Её руки всё ещё подрагивают. От того, что она увидела. От того, что мир оказался шире, чем она думала.

— Лёша... ты точно будешь в порядке? — спрашивает она тихо.

— Конечно, — улыбаюсь я. Стараюсь, чтобы голос не дрожал. — Я же здесь.

Она кивает. Но я чувствую: она всё ещё боится. Боится, что мир нас не примет. Боится, что я — не такой, как все. И что «не такой, как все» — это приговор.

Я протягиваю руку. Накрываю её ладонь своей. Передаю импульс напрямую, минуя слова: «Ты не одна. Мы справимся. Всё будет хорошо».

Её пальцы теплеют. На секунду она прижимает меня к себе. Быстро. Почти незаметно. Как будто боится, что если будет держать дольше — сломает. Или сломается сама.

В коридоре — тяжёлые шаги. Ботинки. Куртка на вешалке. Отец входит молча. Садится. Ест. Не спрашивает. И это правильно.

А я сижу на коленях у матери. Пью молоко. Горячее. Обжигает нёбо. Глотаю. И ещё раз. И ещё.

Ночь. Кровать. Темнота.

Я сижу. Обняв колени. Подбородок на коленях. Как ребёнок, который прячется от мира в собственной скорлупе.

В темноте за веками разворачиваю город. Не карту. Не схему. Сам город — его дыхание, его пульс, его линии. Линии напряжения. Узлы. Точки. Золотые. Серые. Чёрные. Они проступают не в воздухе. В костях. В крови. В том месте, где заканчивается мысль и начинается что-то другое.

Теперь у меня есть время. Время на поиск других «спящих». На тренировку линий. На подготовку к тому, что грядёт.

Чёрные пятна множатся. Я вижу, как они пульсируют в районе ТЭЦ, у моста, в старых кварталах. Они медленно сдвигаются к центру. Словно стягивают удавку.

Но и золотые точки — тоже. Они вспыхивают там, где их не ждёшь. Там, где никто не ищет.

И тут — вспышка. Где-то на окраине, в частном секторе, загорается новая точка. Она пульсирует теплом. Зовёт. Моя собственная метка на ладони — след от рукопожатия с девочкой — отвечает ей слабым покалыванием. Полумесяц ожога и три лепестка пятна бьются вместе. Не в унисон. В контрапункт. Как два ручья, которые текут рядом, но каждый — по своему руслу. И встречаются только там, где земля сама решила их свести.

Нас уже двое. И где-то там — третий. Или четвёртый. Или тысяча. Но хотя бы — не ноль.

А за окном — небо. Четыре точки. Они горели. Не мигали. Не передавали. Не ждали. Просто горели. Как горели всегда. Как будут гореть, когда меня не станет.

Но сегодня — иначе. Сегодня они не передают сообщение. Не отсчитывают такт. Не смотрят сверху вниз. Сегодня они слушают. Впервые за всё время. И в этой тишине я чувствую: они на моей стороне.

Я не отвечаю. Не могу. Не знаю.

Но я кладу правую ладонь на грудь. Туда, где сегодня я вынул музыку и положил её в мамину ладонь. Туда, где раньше было сердце. А теперь — пустое место. Не страшное. Просто — пустое. Как комната, из которой вынесли мебель, чтобы переклеить обои.

Я сижу. Обняв колени. И нюхаю воздух. Борщ. Укроп. Мука. И что-то ещё. Едва уловимое. Как запах того, что завтра будет другим. Не лучше. Не хуже. Просто — другим.

И я дышу. Медленно. Глубоко. Впервые за день — без задачи. Без плана. Без линий.

Просто — дышу.

ГЛАВА 9. ЭКСПЕРИМЕНТ

1975 год. Мне семь. Всё ещё семь.

Пора подключить к плану отца.

Он — директор крупного автотранспортного предприятия на Урале. Человек системы. Но в его ауре ещё тлеет искра живого, и кровь пока не превратилась в машинное масло. До сих пор я лишь слегка корректировал его состояние: снимал напряжение после тяжёлых совещаний. Приглушал тревогу, когда начальство требовало невыполнимого. Добавлял лёгкости в моменты, когда он тонул в бумажках.

Мелочи. Поглаживания. Как коту за ухом.

Но теперь — пора расширить воздействие.

Отцу выделили бюджет на строительство базы отдыха у озера. Место красивое: сосны, чистая вода, тишина. Та самая тишина, в которой слышно, как растёт трава.

Я прошу:

— Возьми меня с собой. Хочу посмотреть.

Он улыбается. Устало. Той улыбкой, которой улыбаются детям, когда нет сил спорить.

— Ты же не любишь стройки.

— Там что-то меняется, — отвечаю я. — Хочу посмотреть.

В его глазах — вопрос. Не «зачем». Не «что ты задумал». Просто — вопрос. Как у человека, который чувствует, что что-то не так, но не может назвать, что именно.

Он соглашается.

Приезжаем.

Картина типичная для 1975-го. Пахнет цементом, ржавчиной и папиросным дымом. Рабочие сидят в тени, передавая по кругу «Беломор» и грея руки о кружки с чем-то горячим — не чаем, судя по запаху. Прораб осипшим голосом кроет кого-то невидимого матом. Его слова вязнут в шуме ветра, но суть ясна без слов. Стройматериалы валяются одной большой неразборной кучей. Цемент сыплется на молодую траву, и трава уже не молодая — серая, придавленная, мёртвая.

Отец сжимает кулаки. Я чувствую, как в его ауре поднимается волна — горячая, красная, с привкусом железа.

— Опять бездельничают!

Я кладу ладонь на его предплечье. Рукава его куртки пахнут металлом и холодным воздухом. Тот самый запах. Якорь.

— Подожди.

Он смотрит на меня. Я смотрю на него. Семь лет против сорока двух. Но в этот миг — мы на равных.

Он выдыхает. Волна в его ауре опадает. Не исчезает. Опадает. Как тесто, из которого выпустили воздух.

— Ладно, — говорит он. — Жди здесь.

И уходит к прорабу.

Я не жду.

Закрываю глаза.

И тяну.

Двадцать семь нитей.

Каждое сознание — отдельная радиостанция. Своя частота. Свой голос. Своя помеха. Я слышу их все одновременно:

«Начальник приедет — опять орать будет...»

«После обеда сбегая в ларёк, хоть глазком глянуть на Зинку...»

«Почему я должен месить этот раствор, если сосед курит?»

«Спина. Опять спина. К вечеру не разогнусь...»

«Дочке бы ботинки. Зима скоро. А зарплата когда ещё...»

Каждая мысль — отдельная нота. Фальшивая. Диссонирующая. Двадцать семь сознаний, и каждое играет свою мелодию, не слыша остальных.

Я начинаю настраивать.

Как настройщик пианино, который не меняет струны — просто подтягивает колки. Четверть оборота. Ещё четверть. Слушает. Ещё четверть.

Добавляю в каждое сознание волну. Ощущение. Как молоток ложится в руку идеально — и ты не думаешь об этом, ты просто бьёшь, и гвоздь входит ровно, и в груди тепло. Как доска прибита точно в паз — и ты проводишь ладонью по стыку, и стык гладкий, и ты улыбаешься, хотя никто не видит.

Подключаю эмпатию. Просто — убираю шум. Тот шум, который мешает услышать соседа. Теперь они замечают: у Коли спина. Васиной дочке нужны новые ботинки. У Петра руки трясутся после вчерашнего. И когда они это замечают — что-то внутри них сдвигается. Не ломается. Сдвигается. Как стрелка компаса, которая наконец нашла север.

И тогда — фильтр.

Это единственное, от чего мне тошно.

Я вешаю на запах алкоголя рефлекс. Вместо горького хмеля рецепторы бьёт резкий запах скисшей капусты и серы. Тошнота при виде горлышка бутылки. Просто — тело говорит «нет» раньше, чем разум успевает сказать «да».

Манипуляция. Мягкая. Невидимая. Но манипуляция.

И я делаю это. Потому что альтернатива — пьянка, драка, травма, больница. Потому что у Коли спина, а у Васи дочка, и им нельзя в больницу. Нельзя.

Но тошнота остаётся. Всё — без насилия. Как настройка оркестра, где каждый музыкант наконец слышит остальных. Гармония. Двадцать семь голосов, каждый — свой. Но вместе — звучат, как песня стаи.

И в этот миг я чувствую: что-то отвечает.

Из-под пола. Из-под земли. Из самой основы мира. Четыре толчка. Пауза. Ещё четыре. Будто старый дирижёр под землёй отсчитывает такт невидимой симфонии. Ритм. Тот самый ритм, который я слышал в трансформаторной будке в три года. Который звучал в груди матери, когда она варила кашу. Который бил в висках, когда я держал три нити на табуретке.

Но сейчас — громче. Потому что двадцать семь душ дышат в одном ритме. И ритм этот — не мой. Он был здесь до меня. Будет здесь после меня. Я просто — подтянул колки.

Знак на правой ладони отзывается. Станным чувством, будто я сам стал частью этой симфонии. Струной, которую кто-то тронул — и она зазвучала.

И тут — тяжесть.

Непривычная. Словно тяну не одну нить, а целую сеть. Двадцать семь нитей. И каждая — живая. И каждая — сопротивляется. Не потому что злая. Потому что живая.

За глазами давит — тупо, вязко, как будто кто-то прижал пальцы к векам изнутри. Перед глазами мельтешат тёмные пятна. Во рту — медь. Густая. Тёплая. Я прикусил щёку изнутри. Снова.

Цена растёт.

Открываю глаза. Отец стоит в двадцати метрах, разговаривает с прорабом. Не смотрит на меня. Хорошо.

Отпускаю нити. Просто — отпускаю хватку. Пусть звучат сами. Пусть дышат сами. Я больше не держу.

Две недели.

Я не ждал. Я чувствовал. Каждый день — как натянутая струна, которая гудит на ветру. Иногда одна из нитей дрогнет, сойдётся, захочет вернуться в старую фальшь. И я подтягиваю. Четверть оборота. Ещё четверть. Просто — напоминаю.

Это утомительно. Каждое подтягивание — как глоток ледяной воды натошак. За глазами давит. Но нити держатся. Звучат.

Приезжаем снова. Отец тормозит «Волгу», вытирает лоб рукавом пальто.

И замирает.

Перед нами — готовая база отдыха. Домики сияют свежей краской: жёлтый, голубой, зелёный. Столовая с большими окнами, и из окон пахнет укропом, тушеной картошкой и только что дошедшей ухой, в которую кто-то бросил березовую головешку. пляж с аккуратными лежаками. Лодочная станция с выстроенными в ряд шлюпками. И беседка — та самая, которую «успели доделать».

Рабочие ходят деловито. Перекрикиваются весело. Один машет нам рукой:

— Евгений Иванович! Мы даже беседку успели доделать!

Отец поворачивается ко мне. Его кадык дёргается. Вверх-вниз. Как у человека, который хочет сказать что-то, но слова застревают где-то между горлом и языком.

— Как?! Они же...

Я пожимаю плечами.

— Люди могут многое, когда им приятно работать.

Отец смотрит на меня. Долго. Внимательно. Как смотрят на человека, который только что сказал что-то очень простое и очень страшное одновременно.

Потом смотрит на базу. На домики. На беседку. На шлюпки.

И молчит.

Вечер. Кухня.

Мама ставит на плиту кастрюлю. Пар оседает на обоях. Пахнет борщом и чесноком.

Отец сидит за столом. Смотрит в окно. На двор. На лужу, в которой отражается небо. На кошку, которая сидит на заборе и не двигается. Его пальцы на подоконнике сжимаются чуть сильнее, чем нужно.

— Ты что-то сделал? — спрашивает он вдруг. Голос севший. Как после долгого крика. Только он не кричал. Он думал. — Или... ты просто видишь, как надо?

Молчу. Позволяю ему смотреть сквозь меня.

Он долго смотрит в стол. В его ауре — борьба. Вижу её отчётливо, как два цвета, которые не хотят смешиваться. Красный — страх. «Он не такой, как все». Синий — гордость. «Но он мой сын». И между ними — тонкая, дрожащая нить лазурного любопытства. «Что ещё он может?»

Два человека в одном. Советский хозяйственник, привыкший к планам, к ГОСТам, к «давай по порядку». И отец, готовый принять чудо. Не потому что верит. А потому что любит.

Наконец, он кивает.

— Если ты можешь сделать так, чтобы люди работали с радостью... Может, это и есть настоящее управление?

Киваю в ответ.

Потому что знаю: это не конец. Это только начало.

Мама ставит перед ним тарелку. Суп. Хлеб. Соль. Он берёт ложку. Ест молча. Медленно. Как человек, который слишком устал, чтобы жевать быстро. Но сегодня — медленнее, чем обычно. Как будто каждый глоток — доказательство, что он здесь. Что он живой. Что мир ещё не сошёл с ума.

А я опять сижу на коленях у матери. Пью молоко. Горячее — то, что обжигает нёбо и делает его более мягким.

Я сижу на полу. В своей комнате. На холодном линолеуме. Лопатки чувствуют каждый шов. Пол пахнет мылом и чьими-то чужими ногами. Холод помогает считать.

В темноте за веками проступает город. Линии. Узлы. Точки. Золотые. Серые. Чёрные. Они проступают не в воздухе. В костях. В крови. В том месте, где заканчивается мысль и начинается что-то другое.

Двадцать семь нитей — это сеть. И сеть весит.

За глазами ещё давит. Тело гудит — низко, утробно, как трансформатор, который работает на пределе.

Пытаюсь проследить одну из нитей. Ту, что ведёт к окраине. Туда, где вспыхнула новая точка. Та самая, которую я почувствовал в парке, когда мы с девочкой зажгли лампочку. Та самая, что пульсирует теплом и зовёт.

Нить тянется. Тонкая. Золотая. Живая. Я иду по ней — не телом, не мыслью, а тем, что за мыслью. Тем, что сидит в центре груди и смотрит на мир через чужие глаза.

И на полпути нить обрывается.

Чисто. Ровно. Как будто её перерезали ножницами. Тот, кто резал, знал, что делает.

Я замираю.

И в этот миг карта дрожит. Та, настоящая. Та, что висит в воздухе спальни. По ней пробегает волна искажений — как рябь по воде, в которую бросили камень. Все линии смещаются. Золотые. Серые. Чёрные. Все.

И где-то далеко — тихий смех.

Чужой. Тихий. Сухой. Как треск старой бумаги. Как шорох мыши за стеной. Как звук, который тело узнаёт раньше разума. И от этого узнавания — холод. В костях. В том месте, где заканчивается плоть и начинается память.

На левой ладони появляется новый знак - треугольник с тремя точками-«зрачками». И он отзывается. Впервые. Коротким, сухим уколom. Будто кто-то приложил к коже монету, которая столетиями лежала в кармане чужого пальто.

Я сжимаю кулак. Прячу этот холод в ладони.

Смех стихает. Карта перестаёт дрожать. Линии возвращаются на место. Почти все. Одна — та, что была перерезана, — не возвращается. Её больше нет.

Я открываю глаза. Пол. Холодный линолеум. Швы. Чужие ноги.

Но я знаю: кто-то смотрел. Кто-то резал. Кто-то смеялся.

ГЛАВА 10. СЕРЫЕ НИТИ

1975 год. Мне всё ещё семь.

Лето в разгаре, но на языке — вкус старой батарейки. Кислый. Химический. Тот, от которого сводит скулы и хочется сплюнуть.

Пятница. Автобус из отцовского парка ждёт у подъезда. Жёлтый. С синей полосой. Стекло в пыли. Дверь открыта, и из неё тянет нагретым дерматином и чьим-то вчерашним обедом.

Обычно — смех. Песни под гитару. Кто-то берёт с собой перекус. Кто-то — просто хорошее настроение, которое пахнет одеколоном «Шипр» и папиросным дымом.

Сегодня — тишина.

Я вхожу — и сразу понимаю: что-то не так. По тому, как воздух ложится на кожу. Плотнее. Тяжелее. Будто я шагнул не в салон, а в чужой выдох, который кто-то задержал слишком долго.

Люди сидят, сжав челюсти. Глаза — в пол или в окно. Никто не здоровается. Даже дети молчат, будто проглотили языки. В каждом сознании — тугой узел. Злость на всё. На свет. На пятницу. На то, что радости нет и не будет.

И тут — запах.

Запах старой меди и тухлых яиц. Густой. Тошнотворный. Тот, от которого сводит челюсти и хочется зажмуриться. Запах, которого я никогда раньше не встречал в этом мире. Но тело узнаёт. Костями. Тем, что старше мысли.

Мама оборачивается. Её пальцы сжимают край моей куртки.

— Лёша, ты тоже чувствуешь? — шепчет она.

Киваю. Горло сжато. От узнавания.

Закрываю глаза. И слушаю. Костями.

Тяну. По миллиметру. Как разматывают клубок, в котором запуталась живая нить. Только сейчас — не одна нить. Не две. Не двадцать семь.

Сотни.

Каждый в автобусе — как натянутая струна. Свой тон. Свой звон. Своя трещина. Но все они звучат в одной тональности. Той, которую кто-то задал. Той, которую кто-то включил извне.

Слушаю.

Женщина в платке. Сидит у окна. Пальцы теребят бахрому шали. В голове — одна мысль, повторённая сто раз: «Сосед опять смотрит косо. Знает, что мне присвоили следующий разряд, а ему нет. Знает. И молчит. И улыбается. И я ненавижу его за эту улыбку».

Мужчина у окна. Серый пиджак. Серый галстук. Серое лицо. В голове — другая мысль: «Почему ей дали премию, а мне нет? Она же ничего не делает. А я пашу. И я ненавижу её за эту улыбку».

Девочка-подросток. Три косички. Обгрызенные ногти. В голове — третья мысль: «Мать опять будет орать, что я плохо учусь. И я ненавижу её за это. И себя. За то, что не могу ответить».

Всё — усилено. Выкручено на максимум. Как радиоприёмник, у которого кто-то повернул ручку громкости до упора. Крик. Ярость. Безысходность.

Ищу источник.

Прослеживаю нити эмоций — они ведут к радиоточкам, которые есть на каждой кухне. Транзисторы, приёмники, старые проигрыватели — те, что тихо шипят, наполняя пространство вирусом уныния.

Вижу структуру. Это не просто звук. Не просто музыка.

Это сеть.

Тонкие нити проникают в уши. Обволакивают височные доли. Пульсируют в ритме: злоба, зависть, безысходность.

Подстраиваются под каждое биение сердца. Не совпадают с ритмом — обнимают его. Как паразит, который живёт внутри и дышит твоим воздухом. И ты не знаешь, что он там. Потому что он стал частью твоего вдоха.

Я пытаюсь уловить узор этой сети. Она не хаотична. В ней есть ритм. Напоминающий биение огромного сердца. Но без тепла. Холодное. Механическое. Это пульс машины, которая питается человеческими эмоциями.

Каждый всплеск злости — топливо. Каждый страх — искра. Каждая слеза — смазка для шестерёнок.

И я вспоминаю физику. Не из учебника. Из прошлой жизни. Из 2062 года. Из той жизни, где я знал: волны разной частоты влияют на мозг. Определённые ритмы вызывают тревогу, агрессию, апатию.

Кто-то — не просто включил сигнал. Кто-то спроектировал его. Чтобы совпадать с альфа-ритмами бодрствующего сознания. Чтобы обходить критическое мышление. Чтобы превращать людей в стадо озлобленных существ.

Все. Каждый. Кто включил приёмник. Кто подошёл к репродуктору. Кто просто шёл по улице и слышал музыку из чьего-то окна.

Я открываю глаза. Мама смотрит на меня. Её пальцы всё ещё сжимают край моей куртки.
— Что это? — шепчет она.

— Сеть, — отвечаю я. Голос ломается. Прокашливаюсь. Пробую снова. — Они кормятся нами.

Нахожу точку плетения.

Мысленно прочерчиваю линии. Следую за вибрациями. Они сплетаются в сложный узел — как клубок ниток, который кто-то бросил в угол и не стал распутывать. Но я ищу не клубок. Я ищу иголку. Ту, что в центре. Ту, которая готова уколоть.

Источник сигнала — не одна станция. Это распределённая сеть. Ретрансляторы в каждом городе. Резервные генераторы. Дублирующие каналы. Но есть узел. Место, где сеть сходится в один пучок. Я чувствую его. Где-то под Москвой. В бетонном колодце. Глубоко. Так глубоко, что даже мой внутренний визор не достаёт до дна.

Действую.

Не ломаю. Не взрываю. Я — сдуваю. Мыслью. Как ветром. Провожу по каждой нити: разрываю связи. Рассеиваю резонанс. Возвращаю волнам их естественный ритм. Тот, который был раньше. До того, как кто-то включил сигнал. До того, как кто-то начал кормиться.

Это утомительно. Каждая нить цепляется. За паразита. За тот ритм, к которому привыкла. Как человек, который не может бросить курить, хотя знает, что умирает. И когда я его открываю — нить кричит. Тихо. На частоте, которую слышу только я. Но кричит.

В висках стучит. За глазами давит — тупо, вязко, как будто кто-то прижал пальцы к векам изнутри. На языке — горький привкус, как после долгого крика. Тот, который остаётся, когда горло уже не может, но ты всё ещё пытаешься сказать что-то важное.

Но я не останавливаюсь.

Потому что если остановлюсь — сеть вернётся. И тогда будет хуже. Тогда они поймут, что кто-то тронул их игрушку. И придут посмотреть, кто.

В автобусе — сначала тишина.

Та самая, плотная, густая. Тишина, в которой слышно, как кто-то дышит. Как кто-то моргает. Как ткань сиденья шуршит под чьим-то весом.

А потом — женщина в платке вздыхает. Глубоко. Так, как вздыхают, когда наконец выпустили воздух, который держали в груди целый день. Она смотрит в окно. И улыбается.

— Какой красивый лес...

Мужчина у окна расслабляет плечи. Серый пиджак перестаёт быть серым. Он смотрит на свои руки, которые крутили гайки целый день. И говорит — тихо, самому себе:

— Надо жене цветы купить...

Девочка-подросток достаёт книжку с потрёпанной обложкой. Открывает. Читает. И в её ауре — та самая трещинка, которая была утром, — затягивается. Медленно. Как рана под пластырем.

Кто-то смеётся. Тихо. Сначала. Потом громче.

Кто-то говорит:

— А давайте песню споём!

Кто-то достаёт гармошку. Ту самую, что лежала в сумке ещё с утра. Забытая в общей подавленности. Первые аккорды звучат неуверенно. Фальшиво. Криво. Но постепенно к ним присоединяются голоса. Один. Два. Три. Десять. Это как пробуждение от кошмара: сначала робкое, потом всё смелее.

Запах меди и тухлых яиц исчезает. Не сразу. Медленно. Как туман, который рассеивается под солнцем. Воздух снова пахнет жареной картошкой и свежими булками. И одеколоном «Шипр». И папиросным дымом. И жизнью. Просто — жизнью. Без привкуса.

Я открываю глаза. Мама смотрит на меня. Её пальцы разжимаются. Медленно. Как будто она только что поняла, что держала меня за куртку так крепко, что костяшки побелели.

— Ты... — начинает она.

— Да, — отвечаю я. Не даю ей договорить. Не хочу слышать вопрос. Знаю его. «Ты это сделал?» Знаю ответ. «Да». Не хочу говорить вслух. Не здесь. Не сейчас.

Мама кивает. Молча. Её глаза влажные. Но она не плачет. Она просто смотрит на меня. И в этом взгляде — то, для чего нет слова.

Дома мама не включает свет.

Сидит в темноте на кухне. Окно открыто. Пахнет сырой землёй и чьим-то далёким костром. Она смотрит во двор. На лужу, в которой отражается небо. На то место, где асфальт трескается и из трещины пробивается одуванчик.

Я сажусь рядом. Молчу.

Она не оборачивается. Но я чувствую: она знает. Не что. Не как. Просто знает.

— Это было... не случайно, — говорит она наконец. Не оборачивается. Голос тихий. Ровный. Но пальцы на коленях сжимаются чуть сильнее, чем нужно.

— Нет, — отвечаю.

Пауза. Машина за окном проехала и стихла. Где-то залаяла собака. И замолчала. Как будто тоже услышала то, что я сказал.

— Но теперь они знают, что я здесь.

Она поворачивается. Смотрит на меня. Долго. Так, как смотрят, когда хотят сказать что-то важное, но не знают, с чего начать.

— Что дальше? — спрашивает.

Я смотрю в окно. На лето. На зелень, которая лезет из каждой щели. На одуванчик в трещине асфальта.

— Дальше, — говорю, — мы найдём других. Тех, кто слышит линии. Тех, кто может рвать сеть.

Она кивает. Молча.

За окном темнеет. Где-то далеко гудит труба. Где-то лает собака и замолкает. Где-то мама дышит — нет, это я слышу, как она дышит. Рядом. В темноте.

Я не считаю нити. Не плету планы. Не слушаю линии.

Просто сижу. И дышу. И чувствую, как запах меди и тухлых яиц — тот, что был в автобусе, — медленно уходит. Не сразу. По капле. По одному серому клочку за раз.

А на его месте — что-то другое. Едва уловимое. Как запах мокрой земли после дождя. Хотя дождя не было.

Будто сам воздух выдохнул то, что держал в себе слишком долго.

И я выдыхаю. Вместе с воздухом. Вместе с домом. Вместе с мамой, которая дышит рядом в темноте.

Медленно. Глубоко. Впервые за день — без задачи.

ГЛАВА 11. ОТЕЦ

1975 год. Мне семь. Каждый день — урок.

Рассвет. Поляна за домом. Воздух пахнет холодным железом росы и смолой просыпающихся сосен. Трава мокрая. Кеды промокают за три шага.

Я не делаю разминку. Не стою на цилиндре. Не подбрасываю мячики. Это было в три года. Тогда я учил тело слушаться. Теперь тело слушается. Теперь я учу его — молчать.

Бирюльки.

Десятки крошечных фигурок из старого дерева. Отец вырезал их зимой, долгими вечерами, когда за окном выла вьюга и делать было нечего. Лошадки. Коровки. Петушки. Грибочки. Все разные. Все размером с ноготь мизинца.

Беру пинцет. Вынимаю фигурки по одной. Не задевая соседей. Таймер — три минуты. Пальцы дрожат. Мелко. Часто. Но я не останавливаюсь. Вынимаю. Ставлю. Вынимаю. Ставлю.

Сорок семь. Сорок семь фигурок стоят ровным рядом на траве и смотрят на меня деревянными глазами.

Потом — пластун.

Ползу по траве. Сливаюсь с рельефом. Обхожу невидимые препятствия — корни, камни, муравьиные тропы. Чувствую, как каждый мускул работает. Не в унисон с пространством. В переговорах.

Пока солнце поднимается выше, тело наполняется звонкой, тугой силой. Но эта сила требует уплаты. Мышцы гудят. В затылке — свинцовая пробка. Я скриплю зубами так, что в челюсть стрельнуло. Знакомое.

Это как настраивать инструмент перед концертом. Только инструмент — это я. А концерт — вся оставшаяся жизнь.

День. Работа с полями.

Расширение сферы. Мысленно растягиваю зону внимания до гектара. Охватываю весь лес вокруг поляны. Фиксирую всё: жужжание пчелы, шелест листьев, вибрацию почвы от дальнего лесовоза. Каждый звук — отдельная нить. Каждая нить хочет, чтобы я слушал.

Периферия. Выделяю триста объектов. Отслеживаю их движение, температуру, эмоциональный след. Среди этих трёхсот ищу аномалии: места, где энергия течёт неровно. Где линия дрожит. Где узел затянут слишком туго.

Иногда удаётся уловить отголоски чужих следов — словно кто-то прошёл здесь недавно, оставив вмятину в пространстве. Что-то, что пахнет жжёной изоляцией и озоном.

Детализация. Фокусируюсь на двадцати целях. Вижу: трещины на коре старой берёзы — глубокие, как морщины на лице деда. Узор паутины между ветками — геометрически правильный, как чертёж. Микроскопических жучков, ползущих по стеблю крапивы, — каждый со своей скоростью, со своим маршрутом, со своей маленькой жизнью.

Слияние. Растворяю границы тела. Становлюсь частью поляны. Её звуком. Её светом. Её запахом мокрой травы. Не точкой, которая смотрит. А самим пространством, которое дышит.

Это страшно. Каждый раз. Потому что каждый раз я не знаю, вернусь ли. Потому что каждый раз тело на поляне остаётся одно. И если я не вернусь — оно так и будет лежать. Дышать. Ждать.

Но я возвращаюсь. Каждый раз. Тело тянет обратно — упрямо, безрассудно, как тянет корень дерево к земле. Не спрашивая разрешения.

Вечер. Дом.

Отец приходит, когда на кухне уже темнеет. Ставит портфель у двери. Моет руки. Садится за стол. Берёт ложку. Не говорит ни слова. И это правильно.

Я подхожу сзади. Кладу ладони ему на плечи. Моя ладонь намного меньше его лопатки. Семь лет против сорока двух.

— Папа, нам нужно поговорить, — говорю я тихо.

Он вздрагивает от неожиданности. Но не оборачивается.

Я не говорю больше ни слова. Не закрываю глаза. Не тянусь мыслью. Я просто перестаю делать вид, что не вижу.

И показываю.

Не картинки. Ощущения.

Передаю плотность мышц после семи минут на траве. Ощущение гектара леса, где каждый лист дышит. Ужас той липкой паутины в автобусе, которая высасывает волю. Ту самую, из лета. Ту самую, от которой пахнет старой медью и тухлыми яйцами.

И там, в тени горкома, — чёрный силуэт. Тень, у которой нет запаха. Только всасывающая пустота. Как если бы кто-то вырезал кусок мира канцелярским ножом и оставил дыру. И из этой дыры тянет холодом. Холодом отсутствия.

Отец резко подаётся вперёд. Хватает воздух. Его пальцы сжимаются в кулаки так, что ногти впиваются в ладони. Он готов вскочить. Защититься. Ударить. Но кулаки медленно разжимаются.

Я вижу, как в нём борются два человека. Животный страх: «Мой сын одержим. Это не нормально. Нужно к врачу». И решимость инженера: «Но этот прибор точен. Данные не лгут. Если он видит — значит, это есть».

Отец бледнеет. На лбу проступает испарина. Капля скатывается по виску и падает на скатерть. Тёмное пятно. Маленькое. Но я вижу.

— Это... реально? — его голос хриплый. Чужой.

— Более чем, — отвечаю я. — И нам нужны союзники.

И тут — запах. Табак. Стружка. И что-то ещё, что я не могу назвать. Но теперь я чувствую его иначе. Не просто как запах усталости. А как нить. Которая связывает меня с этим человеком. В его ауре — не только страх. Там ещё есть что-то. Что-то, что отзывается на мой знак на правой ладони тёплым, почти родственным покаяванием.

Будто два голоса, которые всю жизнь пели врозь, вдруг услышали друг друга. И замерли. И запели. Не в унисон. В гармонии.

Ночь. Кровать. Темнота.

Я лежу на спине. Смотрю в потолок.

В голове крутятся образы. Лица людей, которых я почувствовал сегодня. Точки на карте, где сигнал был особенно сильным. Узлы. Ретрансляторы. Чёрный силуэт в тени горкома.

Завтра — приём в горкоме по случаю открытия новой школы. Отец приглашён как представитель предприятия. Моя роль: сын директора, который случайно оказался рядом. Не случайность. Расчёт. Каждый шаг просчитан. Каждое слово взвешено. Каждая пауза — на месте.

Инструменты: усиление слуха, чтобы уловить интонации. Сканирование эмоций, чтобы видеть истинные реакции. Лёгкий контроль внимания — как настройщик, который слушает, как струна находит свой строй. Одна нота. Пауза. Вторая нота. Пауза. И — аккорд.

Но сначала — диагностика. Проверить поле первого секретаря. Есть ли следы паутины. Насколько он открыт к изменениям. Скрывает ли связь с теми, кто стоит за чёрным силуэтом. Если чист — попробую осторожно раскрыть часть правды. Если нет — будем действовать иначе.

Я не знаю, как именно. Но я узнаю.

За стеной — тишина. Не пустая. Наполненная. Я слышу, как мама ходит по кухне. Звякнула ложка о край кастрюли. Тихо. Осторожно. Как будто боялась разбудить.

Она не входит. Просто — там. За стеной. Как всегда. Как дыхание дома.

Я закрываю глаза. В темноте мои пальцы рисуют не просто схему. Они вычерчивают карту будущего. Каждый узел, каждая линия — шанс переписать правила игры. Не все. Не сразу. По одному.

Я знаю, что путь будет сложен. Но впервые за семь лет я чувствую: рядом есть тот, кто несёт вместе со мной. Не потому что знает. Не потому что понимает. А потому что верит.

И в этом дыхании, в этом шёпоте — я не считаю нити. Не плету планы. Не слушаю линии.

Просто — дышу.

А дом дышит вместе со мной.

ГЛАВА 12. ТАЙНЫЙ ЭКЗАМЕН

1975 год. Мне семь.

Тренировки дают результат. Тело перестаёт быть врагом. Оно становится инструментом. Не музыкальным — тот требует настройки перед каждым концертом. Хирургическим. Каждое движение — точное. Каждый вдох — экономный.

Рассвет ещё не пришёл. Он только дышит — где-то за соснами, за ручьём, за тем холмом, где кончается наш двор и начинается лес. Воздух пахнет остывающей росой, хвоей и чем-то металлическим — как монета, которую ты потер пальцами.

Я выхожу на поляну. Босиком. Трава холодная. Колет ступни. Это хорошо. Боль — это якорь. Пока больно — ты здесь. Пока ты здесь — ты не там. Не в сфере. Не в медных венах. Не в чужих голосах.

Бревно. То самое, узкое, над ручьём. Кора мокрая. Скользящая. Я ставлю ногу на середину. Потом вторую. Руки в стороны. В каждой — по речному голышу. Серые, гладкие, тяжёлые. Как два маленьких сердца, которые бьются в такт.

Подбрасываю. Левый. Правый. Левый. Правый. Голыши летят — и в этот миг я не думаю. Не считаю. Не отслеживаю. Я — бревно. Я — ручей. Я — всё сразу. И ничто отдельно.

Семь минут сорок три секунды. Рекорд.

Когда спрыгиваю, ноги подрагивают. Мелко. Часто. Как после долгого сна, в котором ты бежал. Каждая мышца пульсирует в такт земному биению. Не моему сердцу. Земле. Тому глубокому, утробному гулу, который я слышал в три года, когда прошупывал двор за окном.

Не победа над гравитацией. Шаг к пониманию того, как тело становится проводником. Не инструментом, на котором играют. Проводником, через который течёт.

Слушаю. Не ушами. Уши — это дверь. Я слушаю через стены. Через пол. Через корни сосен, которые уходят под землю на три метра и знают то, чего не знает никто наверху.

Шелест травы. Тридцать семь источников. Каждый со своей частотой, со своим голосом. Дыхание птицы в гнезде — высоко, метров двенадцать. Маленькое, частое, как часы, которые спешат. Отдалённый гул лесовоза — четыре километра. Не три. Не пять. Четыре. Я считаю не расстояние. Я считаю вибрацию, которая доходит до моих ступней через землю.

И среди этих звуков — фальшь.

Скрип сухой ветки. Там, где нет ветра и не должно быть ничего, кроме тишины и запаха хвои.

Я замираю. Не дышу. Не моргаю. Слушаю.

Скрип не повторяется. Значит — не ветер. Не птица. Не белка. Значит — кто-то прошёл. Недавно. Примял траву. Оставил след, который не виден глазу, но виден земле. Земля помнит. Земля всегда помнит.

Добавляю осязание. Давление воздуха на кожу — чуть выше нормы. Микровибрация почвы от далёкого мотора — не лесовоза. Другого. Тяжелее. Ровнее. Машина, которая стоит. Мотор работает. Кто-то ждёт.

Рисую карту. В темноте за веками проступают дома, подземные трубы теплоцентрали, жилы проводов. Всё на своих местах. Всё дышит. Кроме одного места. Того самого, где скрипнула ветка. Там — тишина. Неестественная. Та, которая бывает, когда кто-то очень тихо дышит.

Запоминаю. Не глазами. Телом. Той его частью, которая помнит запах, но не помнит имени.

Он возвращается раньше обычного.

Я слышу ключ в замке — два оборота, не один. Но пауза между ними короче, чем обычно. Как будто он торопился. Как будто что-то гнало.

Отец входит на кухню. Не садится. Стоит посреди комнаты, глядя в окно. От него пахнет холодным воздухом и металлом. Но сегодня в этом запахе — что-то новое. Не усталость. Любопытство. Острое. Как заноза, которую не можешь вытащить.

— Ты хотел что-то обсудить? — спрашивает он, не оборачиваясь. Голос ровный. Но пальцы на подоконнике сжимаются чуть сильнее, чем нужно.

В его взгляде, когда он наконец поворачивается, — попытка понять. Сын, которого он учил кататься на велосипеде, всё ещё здесь? Или уже нет? Или здесь кто-то другой, кто носит его лицо, но смотрит чужими глазами?

— Да, — киваю я. — Нам нужно проверить одного человека.

Он молчит. Ждёт.

— Первый секретарь горкома, — поясняю я. — Нужно понять, прячет ли он серые нити.

Отец долго смотрит на меня. Не на сына. На того, кто говорит. Взрослый на взрослого.

— Хорошо, — говорит он наконец. Голос тихий. Ровный. Но в нём — то, чего раньше не было. Доверие. Не слепое. Не отцовское. Рабочее. Как у двух людей, которые делают одно дело и знают, что не могут друг без друга.

— Что от меня требуется?

План рождается не на бумаге. В голове. В теле. В том месте, где заканчивается мысль и начинается действие.

Повод простой. Отец «забывает» документы в горкоме. Возвращается за ними в обед — когда секретарь один, секретарша в столовой, а коридоры пусты и тишина стоит такая, что слышно, как тикают часы в приёмной.

Моя роль — «ждать папу» в коридоре. На самом деле — слушать пространство сквозь стены. Телом. Той его частью, которая помнит запах, но не помнит имени.

Я мысленно прочерчиваю маршрут. Где встать. Куда направить слух. Какие точки станут моими окнами в кабинет. Старая решётка вентиляции — она помнит каждый голос, который через неё прошёл. Стена между коридором и приёмной — тонкая, как бумага. Пол — паркет, который прогибается у порога, как старая пружина.

Триггер — отец заводит речь о базе отдыха. О финансировании. О сроках. Если секретарь занервничает — если в его ауре вспыхнет что-то, чего там не должно быть, — значит, попался. Если нет — значит, чист. Или значит, прячет глубже, чем я могу достать.

Вечер. Кухня.

Мама ставит на плиту кастрюлю. Пар оседает на обоях. Пахнет чесноком и лавровым листом.

Отец сидит за столом. Кружка с чаем в обеих ладонях. Греет руки. Не пьёт. Смотрит в кружку, как в колодец. Ждёт.

— Представь, что ты говоришь с ним, — прошу я. — А я послушаю тебя через стенку.

Он кивает. Делает вдох. И начинает:

— Пётр Сергеевич, насчёт финансирования базы...

— Не слова, — прерываю я тихо. — Эмоции. Что ты чувствуешь?

Он задумывается. Смотрит в кружку. Долго. Как будто там, на дне, написано то, что он ищет.

— Напряжение, — говорит наконец. Голос севший. Скрежешущий. Как будто слова приходится вытаскивать из горла клещами. — Будто воздух стеклянный. Он чего-то боится. Но не меня.

Я закрываю глаза. Пытаюсь поймать этот «стеклянный» привкус страха. Не в отце. В себе. В том месте, где заканчивается мысль и начинается ощущение. И чувствую. Не страх. Что-то, что прячется за страхом. Как зверь, который притворяется мёртвым, но дышит.

— Хорошо, — говорю я. — Теперь смотри, как вижу я.

И передаю ему образ. Не картинку. То, что за картинкой. Аура секретаря — плотная, бронзовая, как старый колокол. Но в районе сердца — чёрное пятно тревоги. Та, которая живёт долго. Которая не уходит. Над головой — мерцающий узел. Мысль, которую он не сказал. Долг. Обещание. Что-то, что он должен кому-то, но не хочет.

Отец вздрагивает. От узнавания.

— Но пока мы не знаем, — говорю я тихо. — Враг он или союзник. Или просто человек, который боится.

Отец молчит. Долго. Смотрит в кружку. Потом ставит её на стол. Звук — глухой, как удар ладони по дереву.

— Завтра, — говорит он. И в этом слове — всё. Решение.

Ночь. Кровать. Темнота.

Я лежу на боку. Ладонь под щекой. Пальцы правой руки сжаты — полумесяц ожога пульсирует в такт чему-то далёкому.

В темноте за веками я вижу не схему. Нити. От нас к секретарю. От него — к тем, кого мы ещё не нашли. Каждая нить — тонкая. Золотая. Живая. И каждая может оборваться. Если мы потянем не туда.

Риски. Секретарь может быть закрыт щитами. Страхом. Подозрением. Той самой бронзовой плотностью, которую я почувствовал в его ауре. «Серые» могут пасти его. Как собаку, которая чувствует поводок, но не видит хозяина.

Запасные варианты. Если контакт сорвётся — идём к нему домой. С разговором. Если он опасен — поставлю щит на отца. На него. Потому что он — тот, кто стоит в кабинете. Тот, кто рискует. Если нейтрален — ищем другой путь. Другого человека.

Мама входит босиком. Пол не жалуется — она научилась ходить так, что доски не скрипят. Не стучит. Не зовёт. Просто — стоит в дверях.

— Ты не спишь, — говорит она. Голос ровный. Уставший.

— Не могу, — отвечаю я. — Завтра важный день.

Она садится на край кровати. Берёт мою ладонь. Её пальцы тёплые. Шершавые. Пахнут мукой и чем-то кислым — уксусом, может быть. Она только что мешала кашу и не успела вымыть руки.

— Помни, — говорит она тихо. — Ты не один.

Я киваю. Не могу говорить. В горле — ком. От того, что она знает. Не что. Не как. Но знает, что завтра я сделаю шаг. И не остановит. И не спросит. Просто скажет: «Ты не один». И этого будет достаточно.

Она целует меня в макушку. Встаёт. Уходит. Дверь притворилась за ней. Не закрылась — притворилась. Оставив щёлку, через которую пробивался свет из коридора.

Я не ложусь. Не закрываю глаза.

Лежу на боку. Слушаю. Как дышит дом. Как гудит труба за окном. Как ветер перебирает ветки сосен — тихо, осторожно, как будто боится разбудить.

И в этом дыхании, в этом гуле, в этом шёпоте — я слышу не музыку. Не код. Не сигнал.

Просто — утро. Которое будет завтра.

ЛАВА 13. ТАЙНЫ ПЕРВОГО СЕКРЕТАРЯ

Утро выдалось прозрачным. Воздух звенел, как натянутая струна. Тот звон, который бывает перед грозой, когда небо ещё чистое, но земля уже чувствует.

Отец идёт в горком. А я — невидимый наблюдатель — буду читать человека, словно схему.

Мама стоит у плиты. Помешивает кашу. Не оборачивается. Но я чувствую: она знает. Не что. Не как. Просто знает, что сегодня я сделаю шаг. И не остановит. И не спросит.

Я стою в дверях кухни. В рубашке, которую мама гладила вчера вечером. Воротник чуть велик — она купила на вырост. Пуговицы холодные. Металлические. Пахнут тем привкусом, который бывает, когда лижешь монету.

— Воротник, — говорит она тихо.

Подхожу. Она поправляет мне воротник рубашки. Пальцы тёплые. Сухие. Пахнут йодом — она утром резала лук и порезалась. И чем-то ещё — тёплым утюгом, может быть. Она только

что гладила мне воротник и не успела вымыть руки. Пальцы подрагивают — едва заметно, как подрагивает нить, которую слишком туго натянули. Она старается это скрыть. Но я чувствую.

— Всё под контролем, — говорю я.

Она кивает. Не верит. Но кивает.

Отец входит на кухню. Не садится. Стоит посреди комнаты, глядя в окно. Его пальцы на подоконнике сжимаются чуть сильнее, чем нужно.

— Поехали, — говорит он.

Мы выходим. Дверь притворяется за нами — не закрывается, а именно притворяется. Оставив шёлку, через которую пробивается полоска света. Мама остаётся у окна. Я чувствую её взгляд спиной. Тёплый. Тяжёлый. Как ладонь, которая лежит на затылке и не отпускает.

Горком стоит в центре города. Серый. Кирпичный. С колоннами, которые помнят войну. С дверями, которые помнят тех, кто в них входил и не выходил.

Отец заходит внутрь. Я остаюсь в сквере напротив. Сажусь на скамейку. Холодную. Металлическую. Она пахнет ржавчиной и чьим-то вчерашним обедом.

Я не закрываю глаз. Я просто перестаю смотреть. И тогда — сквозь кору скамейки, сквозь ржавчину, сквозь чей-то вчерашний обед — проступает нить. Тонкая. Золотая. Та, что тянется от меня к отцу.

Нить натягивается. Дрожит. Гудит. Как струна, которую кто-то тронул и не отпустил.

И я вхожу.

Не в здание. В отца.

Первое, что я чувствую, — его тело. Чужое. Тяжёлое. Усталое. Плечи, которые несут не страну — кабинет. Не план — чужую подпись. Колени, которые скрипят. Сердце, которое бьётся медленно, ровно, как метроном, отсчитывающий не секунды, а годы.

Второе — его дыхание. Глубокое. С привкусом табака и чего-то металлического. Как воздух в кабинете, где слишком долго курили и слишком мало проветривали.

Третье — его страх. Тихий. Глубокий. Тот, который бывает, когда ты знаешь, что идёшь туда, откуда можно не вернуться. Не физически. Иначе.

Мир дробится на два потока. Мои собственные ощущения — скамейка, холод, ржавчина, чей-то вчерашний обед. И то, что приходит через отца — коридор, линолеум, запах мастики, гул голосов за стенами. Два мира. Один человек. Главное — не раствориться. Не потерять себя в чужой коже.

Отец стучит в дверь.

— Пётр Сергеевич, извините за беспокойство... Забыл документы.

— Ничего страшного, Евгений Иванович, заходите.

Голос секретаря — низкий, с лёгкой хрипотцой. Как у человека, который слишком много курил и слишком мало спал. Я смотрю сквозь глаза отца. Вижу кабинет. Стол. Телефон. Портрет на стене. И человека.

Вижу его поле. Тем, что растёт из груди. Тем, что сидит в центре и не спрашивает разрешения.

В районе сердца бьётся тревожный комок. Маленький. Тёмный. Пульсирует часто, как сердце воробья. Он боится проверок сверху. Боится, что кто-то придёт и спросит: «А что ты сделал?» И он не сможет ответить. Потому что не сделал ничего.

Над головой клубится сизый дым мелких страстей. Не огонь. Не пламя. Дым. Тот, который бывает, когда огонь уже погас, но ещё тлеет. Любовница. Деньги. Обещания, которые он дал и забыл. Страх, что жена узнает. Привычка. Та, которая бывает, когда слишком долго живёшь в страхе и перестаёшь его чувствовать. Как перестаёшь чувствовать запах в комнате, где живёшь.

А глубже — тонкая, едва заметная привязка к чему-то огромному и мёртвому. Механическому. Партийная машина. Та, которая не спрашивает. Не чувствует. Не прощает. Просто работает. Перемалывает. Выплёвывает.

Я погружаюсь глубже.

Его мысли просты. Как вода в стакане, который слишком долго стоял на столе и стал тёплым.

Людочка. Запах её духов — жасмин с ноткой табака. Тот, который он чувствует каждый раз, когда она входит в кабинет. Обещание, которое он ей дал и уже забыл. Не потому что не хотел. Потому что не мог. Потому что машина не позволяет.

Работа. «План горит... Давить на снабженцев... Эта база отдыха — лишняя головная боль». Рефрен. Тот, который повторяется каждый день. Каждый час. Каждую минуту. Как молитва, в которую не веришь, но читаешь. Потому что больше нечего читать.

Выхожу. Не плавно. Рывком. Как будто кто-то выдернул нить из чужой ткани — и ткань закричала. Не отец. Нить. Я чувствую, как она вибрирует где-то между нами — тонкая, горячая, обиженная. Тело возвращается тяжело. Не по частям — целиком. Как человек, который слишком долго сидел в одной позе и теперь пытается встать. Колени чужие. Спина чужая. Только пальцы — мои. Я сжимаю их. Разжимаю. Мои.

Открываю глаза. Скамейка. Холод. Ржавчина. Тот же вчерашний обед.

И в этот миг знак на правой ладони отзывается. Станным ощущением, будто он пробует этого человека на вкус. Три лепестка пульсируют медленно. Лениво. Как язык, пробующий пресную воду. Ту, от которой сводит скулы. Не от вкуса. От пустоты.

Знак говорит без слов: «Пусто. Здесь нечего искать».

Я чувствую короткий укол разочарования. Тупой. Словно проглотил горькую таблетку и понял, что она не поможет. Не потому что плохая. А потому что болезнь не там, где ты думал.

Но тут же гашу его. Это не провал. Это калибровка. Теперь мы знаем: настоящие враги прячутся глубже. Не в кабинете первого секретаря. Не в портрете на стене. Не в партийной машине. Глубже. Там, где машина не достаёт. Там, где даже машина боится смотреть.

Отец заканчивает разговор. Выходит в коридор. Линолеум скрипит под ногами. Пахнет мастикой и чем-то ещё — пылью, бумагой, чужим потом.

— Ну? — спрашивает он. Голос ровный. Но пальцы на портфеле сжимаются чуть сильнее, чем нужно.

— Пусто, — отвечаю я. — Обычная мелкая душонка. Но место чистое. Здесь можно работать.

Он усмехается. Устало. Как человек, который услышал то, что ожидал, но надеялся, что не услышит.

— А ты откуда знаешь?

— Видел, — коротко говорю я.

Пауза. Линолеум скрипит. Где-то за стеной гудит телефон. Где-то далеко тикают часы.

Его взгляд теплеет. Не сразу. Медленно. Как лёд, который тает под солнцем. Впервые за долгое время он смотрит на меня не как на сына-несмышленища. Не как на ребёнка, которого нужно защищать. А как на партнёра по опасному делу. Как на того, кто стоит рядом. Не за спиной. Не впереди. Рядом.

Он кладёт руку мне на плечо. Тяжёлую. Тёплую. Пахнущую табаком и стружкой.

— Поехали домой, — говорит он.

И мы идём. Вместе. Не отец и сын. А как хирург и ассистент, которые впервые стоят за одним столом. Ещё не знают жестов друг друга. Но уже чувствуют ритм.

Дома он садится за стол. Крутит в руках фотографию объекта. На глянце — жёлтые домики среди сосен. Он крутит её уже двадцать минут. Угол фотографии уже загнулся.

Мама ставит перед ним тарелку. Он ест. Не торопясь. Не медленно. Просто — ест. Как человек, для которого борщ — это не обед. Это доказательство, что дом ещё стоит. Что плита ещё греет. Что кто-то ещё варит.

— Значит, не он, — говорит он наконец. Голос ровный. Утверждающий.

— Не он, — киваю я.

— А кто?

Я смотрю в окно. На двор. На лужу, в которой отражается небо. На кошку, которая сидит на заборе и не двигается.

— Не знаю, — говорю я. — Но я узнаю.

Он молчит. Долго. Смотрит в фотографию. Потом медленно складывает её пополам. И ещё раз. И убирает в карман.

— Поедем туда в субботу, — говорит он. — Проверим подготовку к зиме.

И в этом «поедем» — не план. Приказ. Себе. Мне. Миру.

Я сижу на подоконнике. Свесив ноги. Босые пятки упираются в холодную батарею — она ещё не греет, ноябрь только начался. Подоконник пахнет пылью и чем-то металлическим — как старая монета, которую забыли на окне.

Холод батареи помогает думать. Как якорь. Как точка, от которой можно оттолкнуться.

Закрываю глаза. И вижу не город. Вижу — нить. Тонкую. Золотую. Ту, что тянется от меня к кому-то, кого я ещё не нашёл. Она пульсирует. Ждёт. Как струна, которую тронули и не отпустили.

Где-то среди золотых точек — тот, кто станет нашим первым настоящим союзником. Не секретарь. Не приспособленец. Не пустышка. Тот, кто слышит. Тот, кто видит. Тот, кто жужжит не в такт.

Я протягиваю руку в темноте. Не физическую. Ту, что помнит. Ту, что тянется раньше, чем я успеваю подумать. Касаюсь одной из золотых искр. Маленькой. Тёплой. Живой.

Она вспыхивает в ответ. Как свеча, которую зажгли в тёмной комнате.

Пульсирует теплом. Узнавая. Не меня. То, что я несу. То, что я помню. То, что я ищу.

«Я ждала тебя», — шелестит связь. Не голосом. Не словами. Ощущением. Как запах, который ты помнишь, но не можешь назвать. Как звук, который ты слышал, но не можешь повторить. Как прикосновение, которое было, но которого не было.

За стеной — тишина. Не пустая. Наполненная. Я слышу, как мама ходит по кухне. Звякнула ложка о край кастрюли. Тихо. Осторожно. Как будто боялась разбудить.

Она не входит. Просто — там. За стеной. Как всегда. Как дыхание дома.

И в этом дыхании, в этом гуле, в этом шёпоте — я не считаю нити. Не плету планы. Не слушаю линии.

Просто — дышу.

А дом дышит вместе со мной.

ГЛАВА 14. СЛЕДЫ ЗОЛОТЫХ НИТЕЙ

1975 год. Мне всё ещё семь. Лето кончается.

Я чувствую это по тому, как меняется свет. Не по календарю. А по тому, как солнце ложится на подоконник — раньше оно приходило в семь утра, теперь в восемь. И греет иначе.

Я стою на балконе. Босиком. Бетон холодный. Пахнет сыростью и чьей-то жареной картошкой с луком с четвёртого этажа.

Сегодня я не считаю голоса. Не слушаю линии. Сегодня я делаю другое.

Сегодня я ищу тех, кто светится.

Я не закрываю глаз. Я просто перестаю смотреть. И тогда — сквозь бетон балкона, сквозь ржавчину перил, сквозь чей-то вчерашний обед — проступает внимание. Тонкое. Острое. Как

лезвие бритвы. И пускаю его по городу. По земле. По тротуарам. По тем местам, где люди ходят каждый день и не знают, что оставляют следы.

Большинство — серые. Как асфальт после дождя. Как голос, который говорит «здравствуйте» и не смотрит в глаза.

Но среди них — искры.

Редкие. Тусклые. Как угли, которые ещё не погасли, но уже не греют. Они мерцают в разных концах города. Одна — у рынка. Две — у завода. Одна — в старой части, там, где дома помнят войну.

И одна — на окраине. Там, где кончается асфальт и начинается грунтовка. Там, где частный сектор. Где заборы из штакетника. Где возятся куры. Где пахнет навозом и компотом.

Она пульсирует. Не как остальные. Рывками. Как сердце, которое то замирает, то бьётся вдвое быстрее. Как будто внутри неё кто-то спорит сам с собой. И пока не может решить.

Я фокусируюсь.

Вижу её.

Женщина. Лет сорока. Может, тридцати пяти. Идёт по тротуару. В руках — авоська, оттягивающая плечо. Она не перекладывает её в другую руку. Потому что другая рука занята — держит дочку за руку. Дочка не хочет идти. Дочка хочет мороженое. Мороженое стоит 10 копеек — томатное и фруктовое в одном бумажном стаканчике.

Лицо усталое. Со складкой у губ. Той, которая бывает у людей, слишком долго улыбавшихся через силу. Но в глазах — нет пустоты. Там горит уголёк. Маленький. Тусклый. Но живой. Тот, который не гаснет даже под пеплом.

На безымянном пальце — кольцо. Тонкое. Медное. Не обручальное. Слишком тонкое для обручального. Она не снимает его. Никогда. Даже когда моет посуду. Даже когда спит.

Я смотрю глубже.

Вижу: кухня. Кран, который обещали починить три месяца назад. Капает. Ритмично. Как метроном, отсчитывающий не секунды, а терпение.

Женщина не слышит его. Или слышит, но не подаёт виду. Потому что если подать вид — придётся признать, что никто не придёт. Не починит. Не поможет. И тогда придётся чинить самой. А чинить самой — значит признать, что ты одна.

Вижу: книга. Под матрасом. С непонятными символами. Она нашла её в сарае у деда. Дед умер, когда ей было девять. Книга осталась. Она не понимает ни слова. Но держит её. Каждую ночь. Под матрасом. Как будто книга греет. Как будто без неё сон не придёт.

Вижу: сон. Где она летела над городом. Не на крыльях. Просто — летела. Как летит камень, брошенный вверх. Не потому что может. А потому что хочет. И внизу — город. Маленький. Игрушечный. И она не боится. Впервые в жизни — не боится.

Книга. Полёт. Капля из крана. Это ключи. Ключ к тому, что спит внутри неё.

Я чувствую: она уже близка к пробуждению. Ближе многих.

И тут — из самой структуры её поля проступает нечто иное.

Тонкая золотая нить. Она тянется от её виска куда-то вверх. Сквозь крыши. Сквозь облака. Сквозь саму ткань города. Нить не видна глазу. Её можно только почувствовать. Она вибрирует на частоте, которую я узнаю. Частоте тех, кто слышит.

Нить пульсирует. Как дыхание спящего. Но в этой ровности — что-то ещё. Что-то, что я не могу назвать. Как будто нить не просто есть. Как будто она ждёт. Кого-то. Или чего-то.

Знак на моей правой ладони отзывается — не дёргается. А теплеет. Медленно. Как монета, которую долго держали в кулаке и наконец разжали. И в этом тепле — не узнавание. А ожидание. Как будто знак ждал этого момента. Как будто он знал: эта нить — не случайная.

Три лепестка на ладони пульсируют. Не вспыхивают. А именно пульсируют — ровно, в такт чему-то далёкому. Как будто ладонь дышит. Как будто под кожей бьётся второе сердце — маленькое, тёплое, живое.

И в этом тепле — не слова. А знание. Тихое. Глубокое. Как знание, которое живёт в костях. В крови. В том месте, где заканчивается мысль и начинается интуиция.

«Не торопись. Торопливость — это страх, переодетый в решимость».

Я прижимаю ладонь к груди. Держу. Как держат спичку, которую зажгли на ветру.

Балкон. Бетон. Картошка и жареный лук с четвёртого этажа. Город лежит передо мной — серый, зелёный, пыльный. И где-то там, на окраине, пульсирует искра. Моя первая настоящая находка. Не кабинет. Не партийная машина. Живой человек. Который помнит реку. Который прячет книгу под матрасом. Который летал во сне и не боялся. Который носит медное кольцо, которое не снимает даже во сне.

Я спускаюсь с балкона. Босые пятки оставляют на бетоне красные отпечатки — как будто бетон помнит каждый шаг. Иду на кухню. Мама режет лук. Слёзы текут по щекам. Она не вытирает их. Говорит, что это от лука. Но я знаю: это не от лука. Это от того, что она видела вчера. От того, что мир оказался шире, чем она думала. И теперь нужно решать — как в этом мире жить дальше.

Она ставит передо мной тарелку. Щи. Кислые. Капуста разварилась до прозрачности. Картошка рассыпается на языке. Я ем. Медленно. Каждый глоток возвращает меня в тело. В кухню. В этот день.

Вечером возвращается отец.

Он входит тихо. Не хлопает дверью. Не гремит ключами. Просто — в коридоре становится темнее. Садится за стол. Молчит.

Я жду. Не тороплю. Даю ему доесть. Допить. Посмотреть в окно. Увидеть, как солнце садится за крышу напротив. Как небо становится розовым. Как первый фонарь загорается во дворе.

Потом говорю.

— Папа. Я нашёл человека.

Он не оборачивается. Перестаёт жевать. Кусок хлеба застревает где-то между языком и нёбом.

— Где?

— На окраине. Частный сектор. Женщина. Лет сорока. Учитель. Может быть, математик. Я не знаю. Я видел её только издалека.

— И что ты хочешь делать?

Я молчу. Не потому что не знаю. Потому что знаю слишком хорошо. И это знание — тяжёлое. Как камень, который держишь в руке и не можешь положить.

— Мне нужно поговорить с ней, — говорю я наконец. — Не сразу. Мне нужна случайность. Повод. Что-то, что не напугает. Что-то, что она примет как совпадение. Но что будет — не совпадение.

Отец молчит. Долго. Смотрит в окно. Потом снова на меня.

— Что тебе нужно от меня?

— Машина. Твоя машина. И ты. На пять минут. Не больше. Если она испугается — заговори с ней. Просто спроси время. Или про погоду. Что угодно. Просто — будь рядом.

Он кивает. Медленно. Не всё понял. Но решил, что этого достаточно.

— Когда?

— Завтра. После обеда. Она выходит из школы в три. Идёт домой пешком. Через перекрёсток. Там, где старый гастроном.

Он кивает снова. Берёт ложку. Доедает. Молча. Не спрашивает больше. И это — самое правильное, что он мог сделать.

Ночь. Я лежу на кровати. На спине. Смотрю вверх. Побелка. Трещина в углу, похожая на реку. За ней — перекрытие. За перекрытием — чердак. За чердаком — звёзды. Но я не считаю звёзды. Я считаю минуты до утра.

Я думаю о ней. О женщине на окраине. О кране, который капает. О книге под матрасом. О полёте во сне. О медном кольце, которое она не снимает.

И я думаю: что я ей скажу? Как я объясню семилетним ртом то, что знаю?

Я не знаю, как сказать это. Не знаю, поймёт ли она. Не знаю, не испугается ли. Не знаю, не закроется ли.

Но я знаю одно: нить пульсирует. Она ждёт. И если я не приду — она будет ждать ещё. Год. Два. Десять. Пока не погаснет. Пока не станет серой. Как все остальные.

И этого я не хочу.

Я тянусь к ней. Не телом. Тем, что за телом. И чувствую: где-то там, на окраине, искра пульсирует. Ровно. Как уголёк в золе, который ещё не погас. Который ждёт, чтобы кто-то подул.

«Я иду», — говорю я. Не вслух. Губами. Так тихо, что даже воздух не слышит.

И искра — на долю секунды — вспыхивает ярче. Как будто услышала. Как будто ответила.

За окном — ночь. Тёплая. С запахом опавших листьев и чьего-то далёкого костра, в котором запекают картошку.

Я лежу. Глаза открыты. За окном — тишина. И где-то там, на окраине, за забором из штакетника, за скрипучей калиткой — она тоже не спит. Сидит на кухне. Перед ней — чашка остывшего чая. Из носика крана сползает капля и весело разбивается о блюдце, что стоит в раковине ещё с утра.

И книга. Та самая. Под матрасом её больше нет. Сегодня она лежит на столе. Открытая. На той странице, где символы, которые она не понимает. Но смотрит. Потому что сегодня — впервые за двадцать лет — символы кажутся ей почти знакомыми.

И ждёт. Тихо.

ГЛАВА 15. ПЕРВЫЙ КОНТАКТ

1975 год.

Осень пахнет прелой листвой и дымом из труб печей, которые уже начинают топить после холодной ночи. Над городом расплзается почти невидимая горькая дымка.

Мы едем на «Волге». Отец за рулём. Молчит. Пальцы на баранке белеют. Не от холода. От того, что он не знает, как это делается. Как быть прикрытием. Как стоять рядом и делать вид, что ты просто водитель, у которого заглохла машина.

Я сижу на заднем сиденье. Ноги не достают до пола. Болтаются. Кеды скрипят по дерматиновой обивке. В кармане — три желудя. Летние. Тяжёлые. Гладкие. Живые. Я не знаю, зачем взял их. Просто взял.

— Помни, — говорю я тихо. — Ты просто водитель. Стартер заклинил. Ты опаздываешь на совещание. Она поможет. Или не поможет. Если поможет — ты благодаришь. Если нет — уезжаешь. Ничего больше.

Отец кивает. Но я вижу в зеркале заднего вида: он смотрит на меня. Не на дорогу. На меня. И в его глазах — то самое, что было в горьком. Что-то между страхом и гордостью. Что-то, что не имеет названия.

— А если она сразу поймёт, что всё подстроено? — спрашивает он.

— Тогда она точно наша, — отвечаю я.

Он не улыбается. Но пальцы на баранке чуть разжимаются. Этого достаточно.

Мы поворачиваем на перекрёсток. Старый гастроном. Остановка. Скамейка. И она.

Мария Евгеньевна.

С окраины. С авоськой и книгами. Только здесь — не на грунтовке. На перекрёстке. В сером пальто. И нить — та, что пульсировала рывками, — здесь ровнее. Спокойнее. Как будто город ей помогает.

Идёт по тротуару. Быстро. Но не торопится. В авоське — книги. Две. Может, три. Я не вижу названий. Но чувствую: одна из них — про числа. Про те числа, которые не складываются в ответ. Которые остаются в остатке. Которые не дают покоя и которые не делятся на ноль.

Она останавливается у светофора. Ждёт. Смотрит не на огонь. На лужу. В луже — отражение неба. И в этом отражении — что-то, что видит только она.

Мимо проезжает грузовик. Обдаёт нас пылью. Из кузова пахнет картошкой и чем-то кислым — как будто везут солёные огурцы в бочках. Женщина у гастронома громко говорит по телефону в телефонной будке, в которой выбиты стёкла. Светофор щёлкает. Мигает.

Громкий мир. Земной.

Отец тормозит «Волгу» ровно там, где нужно. У обочины. В трёх метрах от неё. Ровно настолько, чтобы она услышала, как он открывает капот. И не подумала, что это случайно.

Он выходит. Поднимает капот. Делает вид, что копается. Я вижу: он не копается. Он просто стоит. И ждёт. Ждёт, пока я скажу.

Я не говорю. Я считаю.

Один. Два. Три.

Она поворачивает голову. Смотрит на машину. На мужчину у капота. На мальчика на заднем сиденье.

И подходит.

— Простите, не можете? — отец оборачивается. Голос ровный. Но в нём — лёгкая растерянность. Та самая, которую он репетировал всю дорогу. — Стартер заклинил. А я опаздываю на совещание.

Она смотрит на него. Долго. Не на лицо. На руки. На то, как они лежат на капоте. Не как у человека, который не знает, что делать. А как у человека, который знает, но не хочет показать, что знает.

— Попробуйте ещё раз повернуть ключ, — говорит она. Голос ровный. Учительский. Тем, которым говорят «откройте учебники на странице сорок семь». Но в этом голосе — что-то ещё. Тёплое. Живое. Как трещина в стене, через которую пробивается свет.

— Иногда помогает.

Отец делает, как она советует. Поворачивает ключ. Стартер щёлкает. Не заводится.

— Может, аккумулятор? — предполагает она.

— Не разбираюсь, — признаётся он. — Вы, наверное, лучше меня знаете технику.

Она смеётся. Коротко. Тихо. Как человек, который не привык смеяться, но не может не рассмеяться.

— Я? Нет, я математик. Но логика везде одна.

И в этот миг — я чувствую.

Из самого звука её голоса — из того, как она произносит слово «логика», из того, как она смеётся, из того, как она стоит на тротуаре в сером пальто и с авоськой, полной книг, — проступает частота. Тонкая. Лучистая. Как нить, которая тянется от её виска куда-то вверх. Сквозь крыши. Сквозь облака. Сквозь саму ткань города.

Это та самая нить. Та, которую я увидел на окраине. Та, которая ждала.

Она здесь. Она не ждёт больше. Она пришла сама.

Я не закрываю глаз. Я просто перестаю смотреть. И тогда — сквозь асфальт, сквозь лужу, сквозь отражение неба — проступает внимание. Тонкое. Острое. Как лезвие бритвы. И отпускаю.

Отпускаю в пространство вокруг неё то, что у меня есть. Ощущение. Как солнечный блик на мокром асфальте. Как запах жасмина, который цветёт не в октябре. Которого не должно быть. Но который есть.

На асфальте вспыхивают блики. Не от солнца. Солнца нет. Небо серое. Но блики есть. Золотые. Тёплые. Они складываются в узор — не в слово. Не в рисунок. В то, что можно почувствовать, но нельзя назвать.

И в воздухе — жасмин. Тонкий. Едва уловимый. Как воспоминание о лете, которого не было.

Она замирает.

Просто замирает. Как человек, который услышал что-то. Не ушами. Чем-то другим. Чем-то, что живёт под кожей. Под рёбрами. Под тем местом, где у учителя математики живёт то, что не складывается в уравнение.

Её зрачки расширяются. На миллиметр. На два. Она смотрит на асфальт. На блики. На узор, которого нет. И в её поле — я чувствую это — что-то сдвигается. Тихо. Как дверь, которую открыли изнутри.

Она не говорит об этом. Не спрашивает. Потому что знает: такие вещи нельзя объяснить словами. Не на перекрёстке. Не в октябре. Не когда ты учитель математики и у тебя в авоське книги про числа, которые не складываются.

Она просто стоит. И чувствует. И не торопится уйти. Хотя опаздывает. Хотя школа. Хотя урок через двадцать минут.

Отец «чинит» машину. Я чуть помогаю искре найти контакт. Просто напоминаю. Как напоминают человеку, который забыл, где положил ключи.

— Вот и всё! — отец хлопает по капоту. Звук глухой.

— Спасибо вам.

Она оборачивается. Смотрит на него. И улыбается. Устало. Как человек, который наконец нашёл слово, которое искал.

— Рада помочь, — говорит она. — Но, кажется, это не только моя заслуга.

Отец моргает. Не понимает. Но я понимаю. Она почувствовала. Не меня. Не нас. Что-то. Что-то, что было в воздухе. В бликах. В жасмине. В том, что нельзя объяснить, но можно почувствовать.

Она смотрит на меня. Через стекло. Коротко. На руки, которые лежат на коленях и перекачивают три желудка. И в её взгляде — узнавание.

И уходит. Авоська. Пальто. Книги. Школа. Урок. Числа, которые не складываются.

Но в её поле — я чувствую это — что-то изменилось. Потому что блики уже погасли. А узор — остался. В памяти. В теле. В том месте, где живёт то, что не складывается в ответ.

Отец садится за руль. Заводит машину. Настоящим ключом. Настоящим стартером. Машина заводится. По-настоящему.

Он не смотрит на меня. Смотрит вперёд. На дорогу. На перекрёсток, который мы покидаем. На тротуар, по которому она ушла.

— Она поняла, — говорит он тихо. Голос ровный. Утверждающий.

— Она почувствовала, — поправляю я.

— Понимание придёт потом. Когда она перестанет бояться того, что почувствовала.

Он молчит. Долго. Ведёт машину. Поворачивает. Останавливается на светофоре. Трогается. И только потом говорит:

— Что дальше?

— Ждём, — отвечаю я. — Она придёт сама. Вопросы без ответов спать не дают. А у неё — вопросы. Я видел. Они живут в её поле. Как занозы. Маленькие. Тонкие. Но не дают покоя.

Он кивает. Не оборачивается. Но я вижу: его плечи опускаются. Как будто он наконец выдохнул то, что держал в себе всю дорогу.

Дома мама режет хлеб. Тонко. Аккуратно. Нож скрипит по корке. Пахнет мукой и тёплым деревом. Она смотрит на меня. Коротко. И ставит тарелку. Не спрашивает. Ей не нужно

спрашивать. Она видит по тому, как я держу ложку. По тому, как сижу. По тому, что молчу иначе, чем обычно.

Отец садится за стол. Ест. Не торопится. Не молчит. Просто ест. И в этом молчании — присутствие. Он здесь. Он слышит. Он не спрашивает. Но он здесь.

А я сижу на подоконнике. Свесив ноги. Пью чай. Горячий. Обжигает губы. Пахнет мятой.

Я думаю о ней. О Марии Евгеньевне. О том, как она стояла на перекрёстке и смотрела на блики, которых не было. О том, как она сказала: «Логика везде одна». О том, как она ушла. И не обернулась. Но в её поле — я чувствовал это — что-то тянулось назад. Ко мне. К нам. К тому, что мы сделали.

Не нить. Не связь. Что-то другое. Что-то похожее на то, как тянется к свету растение, которое всю жизнь росло в тени. Не потому что хочет. Потому что не может иначе.

Ночь. Я стою у окна. Прижавшись лбом к холодному стеклу. За окном — двор. Темнота. Ветви качаются. Где-то далеко лает собака. И замолкает.

Я не считаю нити. Не ищу узлы. Я просто жду.

За стеной — тишина. Не пустая. Наполненная. Я слышу, как мама ходит по кухне. Звякнула ложка о край кастрюли. Тихо. Осторожно. Как будто боялась разбудить.

Она не входит. Просто — там. За стеной. Как всегда. Как дыхание дома.

И в этом дыхании, в этом гуле, в этом шёпоте — я слышу не музыку. Не код. Не сигнал.

Просто — завтра. Которое будет.

ГЛАВА 16. СЕМЬ ЛЕТ: ЗВЁЗДЫ НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ

1975 год. Мне семь. Ночь на сеновале.

Воздух пропитан запахом сухой травы и далёкого костра. Сено колется. Забивается под рубашку. Щекочет шею. Я лежу на спине и смотрю в прорехи крыши. Над головой — небо. Но оно — другое.

Я вглядываюсь в созвездия. Ищу Орион. Три звезды в поясе. Я знаю их наизусть. В прошлой жизни — в той, где мне было тридцать и я лежал на берегу озера, — Орион стоял ровно. Как солдат на посту.

Его нет.

Там, где был Орион, — семь голубых искр. Они пульсируют. В такт чему-то, что я не слышу ушами, но чувствую в зубах. Они сплетены в спираль. Как вода, которая уходит в слив. Как нить, которую наматывают на клубок.

Млечный Путь изогнулся. Не течёт ровно. Извивается. Как река, которая решила течь вспять.

А в зените — скопление огней. Три точки. Расположенные треугольником. Пульсируют. В такт тому же, что и семь искр.

Я знаю этот узор. Не из астрономии. Из снов. Из того места, где знак на левой ладони ещё не появился, но уже дышит.

Я пытаюсь найти знакомые ориентиры. Большую Медведицу. Ковш. Полярную звезду. Их нет. Каждое созвездие переписано. Каждая линия света ведёт куда-то, куда я не знаю.

И я понимаю: это не то небо, которое я помню. Не то, которое было в 2062 году. Не то, которое было в 1968-м, когда я родился во второй раз. Это другое. Моё. То, которое я сдвинул. Не специально. Не осознанно. Просто — сдвинул. Тем, что жил. Тем, что дышал. Тем, что не молчал.

И где-то внутри — не облегчение. Не радость. Что-то тише. Как выдох, который ты держал слишком долго. И наконец отпустил.

На стенах сарая пляшут отблески. Не от луны. От чего-то другого. От того костра, который горел в прошлой жизни. На берегу озера. Где старик сидел в кресле и ждал, пока сердце остановится.

Отблески складываются в силуэты. Отец. Склонившийся над картой. Мама. Шепчущая что-то, чего я не слышу. Я сам. В другом времени. Седой. С глазами, в которых слишком много всего.

Но силуэты размыты. Они не чёткие. Не плотные. Они тают. Медленно. Как дым, который поднимается от костра и растворяется в воздухе. Прошное отпускает. Не прощает. Не забывает. Просто — отпускает. Как руку, которую держал слишком долго. И наконец разжал.

В углу сарая — движение.

Не тень. Не мышь. Не сквозняк. Что-то другое. Что-то, что я узнаю раньше, чем вижу.

Запах. Не мокрая псина. Не прелая листва. Что-то ближе. Теплее. Как металл, который долго лежал на солнце и ещё хранит тепло. Как та самая ладонь, которая держала меня за шкуру, когда я соскальзывал.

— Будь? — шепчу я.

Тень замирает. Потом — медленно, как человек, который не хочет пугать, — принимает форму. Не пса. Не машины. Что-то между. Титан. Углепластик. Гладкий. Тёплый. Глаза — жёлтые. Мягкие. Не горят. Светятся. Как угли, которые уже не жгут, но ещё греют.

Он выполнил свой долг. Там, в разломе времени. Когда я соскальзывал. Когда тело на подоконнике было пустым футляром. Когда четыре толчка ударили из-под пола. Он держал. Не потому что приказали. А потому что мог.

Я протягиваю руку. Будь подходит. Трётся мордой о ладонь. Не шерстью. Металлом. Гладким. Тёплым. С той особой текстурой, которая бывает у титана, когда он долго был на солнце. Изнутри — тихий гул. Сервомоторы. Старые. Уставшие. Но живые.

Гул меняется. Становится ровнее. Глубже. Не «я здесь». Не «ты не один». Просто — гул. Который значит то же самое. Но без слов. Потому что слова — это то, что говорят, когда не знают, как иначе. А Будь знает.

— Прости, что усомнился, — говорю я. Тихо. В пустоту сарая. В сено, которое колется. В небо, которое переписано.

Будь касается моей руки носом. Гул становится чуть громче. Чуть теплее. И я чувствую: на ладони остаётся след. Тёплый. В форме треугольника. Три точки. Расположенные как глаза. Как тот узор в зените.

И тогда — без закрытых глаз, без усилия, без входа — проступают нити. Миллиарды. Триллионы. Каждая — тонкая. Золотая. Живая. Они сплетены в перекрёстки. Каждый перекрёсток — судьба. Выбор. Возможность. Некоторые нити тускнеют. Это пути, которые я закрыл. Не специально. Не осознанно. Просто — закрыл. Тем, что жил не там. Тем, что молчал не вовремя. Тем, что не встал. Не вышел. Не сказал.

Другие нити вспыхивают ярче. Новые дороги. Те, которых раньше не было. Те, которые я открыл тем, что встал. Вышел. Сказал. Зажег лампочку в телефонной будке. Послал импульс маме. Посмотрел отцу в глаза.

Я касаюсь одной из них. Золотой. Пульсирующей. Тёплой. Кончиком пальца. И палец теплеет. Как если бы я коснулся кружки с чаем, которую мама только что сняла с плиты.

Она ведёт к Марии Евгеньевне. К той, что чинит «Волгу» на перекрёстке. К той, что говорит «логика везде одна». К той, чья нота звучит в воздухе, как жасмин, который плывёт над мокрым асфальтом.

И тогда — не голос. Не слова. Вибрация. Тихая. Глубокая. Как гул Будь, только старше. Как четыре толчка, только мягче.

И в этой вибрации — не приказ. Не наставление. Просто факт. Как гравитация. Как то, что всегда было.

Ты создал новую ветку. Чтобы удержать её, нужны хранители. Ты нашёл первого. Ищи остальных.

Я не отвечаю. Не могу. Не нужно. Вибрация уходит. Медленно. Как тепло, которое остаётся на ладони после того, как руку уже убрали.

Рассвет подкрадывается незаметно.

Не вспыхивает. Не взрывается. Сначала — серое. Потом — розовое. Потом — золотое. Небо светлеет. Звёзды гаснут. Одна за другой. Семь голубых искр. Спираль. Треугольник в зените. Они уходят. Не исчезают. Уходят. Как гости, которые засиделись и наконец пошли домой.

Но их свет остаётся. Не в небе. Во мне. Как карта. Как компас. Как то, что ты чувствуешь кожей, даже когда закрываешь глаза.

Будь исчезает. Не растворяется. Не тает. Просто — уходит. В тень. В угол сарая. В то место, где кончается свет и начинается то, что не видно. На ладони — тёплый след. Треугольник. Три точки. Пульсирует. В такт родовому пятну. Едва заметно. Как дыхание того, кто спит рядом.

Я встаю. Отряхиваю сено с одежды. Оно пахнет сухой травой и дымом. Тем самым далёким дымом.

Мама ждёт у калитки.

Руки в муке. Фартук в пятнах. Волосы собраны наспех, и одна прядь выбилась и липнет ко лбу. Она смотрит на меня. Не спрашивает. Но я знаю вопрос. Он висит в воздухе между нами. Тяжёлый. Тёплый. Как пар от кастрюли, которую она только что сняла с плиты.

— Всё изменилось, — говорю я.

Мама молчит. Смотрит. Долго. Внимательно. Как смотрят на человека, который только что сказал что-то очень простое и очень страшное одновременно.

— Но мы справимся, — добавляю я.

Мама кивает. Не говорит ничего. Но я чувствую: она верит. Не в меня. В то, что мы справимся. И этого достаточно.

Она протягивает руку. Я беру. Её пальцы тёплые. Шершавые. В муке. Мы идём к дому. Вместе. По тропинке, которая пахнет мокрой землёй и чем-то ещё — молоком, крахмалом, лавандой. Тем самым запахом, который не уходит. Который всегда здесь. Который всегда будет.

День начинается не с плана. С ощущения.

Я сижу на кухне. Мама жарит оладьи. Пахнет тестом и подсолнечным маслом. Я ем. Не торопясь. Масло течёт по пальцам. Мама ставит блюдо с вареньем. Вишнёвым. Косточка прилипает к нёбу. Я не обращаю внимания. Ем дальше.

За окном — август. Подсолнухи у забора склонили головы. Тяжёлые. Как будто знают что-то, чего не скажут. Воробей купается в луже у крыльца. Всплёскивает крыльями. И не боится.

И я думаю. Не списком. Не пунктами. Просто — думаю.

Мария. Нужно дать ей знак. Не прямой. Не грубый. Такой, чтобы она сама пришла. Чтобы не испугалась. Чтобы подумала, что это случайность. Но чтобы знала, что это не случайность.

Отец. Нужно подготовить его. Не к «необычному». К тому, что мир шире, чем он думал. Не ломать. Не пугать. Просто — показать. Как показывают ребёнку первый снег. Не объясняют. Просто говорят: смотри.

И тот, в сером пальто. Его следы пока не найдены. Но я чувствую: он здесь. Не рядом. Не далеко. Просто — здесь. В той же ткани. В том же небе, которое переписано. Он знает, что правила изменились. Но он ещё не понимает: теперь игра идёт не по его законам. И не по моим. По тем, которые ещё не написаны.

Я ставлю пустую тарелку на стол. За окном воробей вылетает из лужи. Капли летят во все стороны. Подсолнухи качаются на ветру.

Я смотрю на правую ладонь. Родовое пятно. Три лепестка. Пульсирует. Ровно. А рядом — треугольник, оставленный Будем. Три точки. Пульсируют по очереди. И в этой очереди — ритм, которого не было, пока они не встретились.

Два знака. На одной ладони. Не спорят. Не конфликтуют. Просто — дышат. Вместе.

Я закрываю глаза. Но не засыпаю.

Слушаю. Не трубу. Не половицу. Не качель. А тишину между ними. Ту, которая бывает, когда дом дышит. Когда стены помнят. Когда воздух пахнет оладьями и мокрой землёй, и где-то далеко лает собака, и кто-то смеётся, и кто-то зовёт кого-то обедать.

И в этой тишине — не слова. Не мысли. Не план. Просто — воздух, который входит и выходит. Моё дыхание. Её дыхание. Дыхание города. Реки, которая течёт где-то там, за домами, за заборами, за грунтовкой.

Я открываю глаза.

За окном — солнце. Высокое. Тёплое. Живое. Оно греет не в кожу. В кость. Теперь это не чужое небо. Моё.

Я встаю.

Сегодня — день. И в этом дне — всё, что я собираюсь сделать.

Я иду к двери. Обернувшись, смотрю на кухню. На маму, которая моет тарелки. На муку на её руках. На прядь, которая выбилась из волос и липнет ко лбу.

Она поднимает голову. Улыбается.

— Куда, Лёша?

— К Марии, — говорю я.

Она кивает. Не спрашивает. Просто — кивает. И в этом кивке — не слова. А то, что бывает между матерью и ребёнком, когда слова заканчиваются и остаётся только запах. Мука. Тесто. Укроп. И что-то ещё. Едва уловимое. Как запах того, что завтра будет другим.

Я выхожу.

Дверь остаётся приоткрытой — на щелку. Чтобы свет из кухни падал на порог. Чтобы мама видела: я ещё здесь. Ещё не ушёл. Ещё вернусь.

ГЛАВА 17. СЕМЬ ЛЕТ: ЛИНИИ ПАМЯТИ

1975 год. 7 ноября. Мне семь.

Воздух колючий, с привкусом первого снега. Не того, что ложится на землю и тает. А того, что висит в воздухе и не решается упасть. Словно небо не решило — можно или нельзя.

Город одет в красное. Флаги хлопают на ветру, как мокрые простыни. Транспаранты пахнут клеем и чем-то казённым, безликим, как запах коридора в поликлинике. Воздушные шары скрипят на нитках. Красные. Круглые. Пустые внутри.

По главной улице течёт людская река. Колонны школьников, рабочих, ветеранов. Оркестр играет «Интернационал», но барабан отстаёт на полтакта. И это слышно. Потому что в такт маршируют только те, кому некуда идти.

Я иду рядом с отцом. Крепко держа его за руку. Моя ладонь тонет в его руке. Его пальцы тёплые. Шершавые. Пахнут стружкой, которая въедается в кожу за восемь часов у станка.

И я вижу.

Тем, что живёт в груди. Оно пульсирует. И мир вокруг — каждый человек, каждый флаг, каждый шар на нитке — пульсирует вместе с ним.

И я вижу два потока.

Одни сияют. Ровным, глубоким светом. Как окно, в котором горит свеча. Свет идёт изнутри. Из того места, где у человека живёт то, что он не может продать, обменять, потерять. То, что он несёт. Как груз. Как то, что не бросишь, даже если очень хочется.

Другие мерцают. Хаотично. Как битое стекло на солнце. Вспышка. Тень. Вспышка. Тень. Свет не идёт изнутри. Он отражается. От ордена на груди. От медали. От планки. От того, что дали. Не то, что нёс. То, что повесили.

И между двумя потоками — три шага пустого асфальта. Никто не хочет стоять посередине. Как будто там — граница. Невидимая. Но все знают, где она.

Женщина рядом с нами поправляет платок и роняет сумку. Из сумки выкатывается яблоко — красное, с вмятиной на боку. Оно катится по асфальту, подпрыгивает на неровностях и замирает у чьего-то ботинка. Никто не поднимает. Все смотрят вперёд. На трибуну. На флаги. На то, что положено смотреть. А яблоко лежит. С вмятиной. Живое. Ненужное.

Я сжимаю руку отца крепче.

И в этот миг перед нами возникает мужчина.

Не выходит из толпы. Не подходит сбоку. Возникает. Будто стоял здесь всегда.

Седые усы. Взгляд из-под бровей — острый, тяжёлый. Усталый. Тот взгляд, которым смотрят на мир люди, которые видели слишком много и не могут забыть. Старый пиджак под распахнутым пальто. На груди — только тёмные нашивки за ранения. Планки наград. Ни одной блестящей медали. Ни одного ордена. Только тёмные полосы ткани. Я был там. Я видел. Я вернулся.

— Евгений Иванович, — обращается он к отцу. Голос низкий, с хрипотцой. — Пойдёмте к нам в колонну?

Он указывает на группу людей в стороне. Они стоят ровно. По-военному. Шеренгами. Не потому что приказали. А потому что иначе не умеют. На груди — только планки. Тёмные. Матовые. Не блестят. Не звенят. Просто — есть. Как шрамы. Как память.

Рядом — другая колонна. Их в четыре раза больше. Грудь сияют орденами. Золото. Серебро. Эмаль. Звёзды. Серпы. Молоты. Всё блестит. Всё звенит. Всё кричит: смотрите на меня. Смотрите. Я — здесь. Я — важен. Я — заслужил.

Но ауры — спутанная проволока. Ржавая. Колючая. Которая цепляется за всё подряд. За чужие взгляды. За чужие аплодисменты. За чужое «молодец». И от этого — не светлее. А тяжелее.

— Посмотри внимательно, — шепчу я отцу. Тяну его за рукав. — На тех и на других. Видишь разницу?

Отец замирает. Его взгляд становится отстранённым. Как у человека, который смотрит не на толпу, а сквозь неё. Сквозь флаги. Сквозь транспаранты. Сквозь оркестр, который играет «Интернационал» с барабаном, отстающим на полтакта.

— Да... — произносит он. Голос севший. — И как я раньше не задумывался...

Он смотрит на меня. Долго. Внимательно.

— Что ты видишь? — спрашивает он тихо.

Я молчу. Потому что знаю слишком хорошо. И это знание — тяжёлое. Как мокрая одежда, которую не снимаешь, потому что под ней — холоднее.

— Те, кто без медалей, — говорю я наконец. — Они светятся изнутри. Свет ровный. Глубокий. Они несут то, что видели. Как груз. Как то, что не бросишь.

Пауза.

— А те, кто с медалями, — продолжаю я. — Они мерцают. Свет не изнутри. Снаружи. От того, что повесили. И от этого — не светлее. А тяжелее.

Отец молчит. Долго. Смотрит на две колонны. На ту, что светится изнутри. На ту, что мерцает снаружи. На три шага пустого асфальта между ними.

— Кто этот седоусый? — спрашивает он наконец.

— Не знаю, — отвечаю я. — Но он — из тех, кто светится изнутри.

Отец кивает. Как человек, который только что понял что-то, что не сможет развидеть.

Седоусый подходит ближе. В его глазах — усталая мудрость. Та, которая бывает у людей, которые слишком долго несли то, что не должны были нести.

— Ты видишь, мальчик? — спрашивает он. Тихо. Почти шёпотом. Хотя я не произносил ни слова.

— Вижу, — отвечаю.

Он кивает. Будто ждал этого. Будто знал, что я увижу. Будто ждал тридцать лет, пока кто-то увидит.

— Мы — те, кто не искал наград, — говорит он. Голос низкий, ровный. Как у человека, который говорит не для меня. Для себя. Для того, чтобы наконец сказать вслух то, что тридцать лет держал внутри. — Мы просто... были там.

Пауза. Он смотрит на блестящую колонну. На золото. На серебро. На звёзды, которые звенят.

— А они... — он бросает взгляд на ордена. — Они носят память как украшение.

Он проводит рукой по нашивкам. Пальцы скользят по тёмным полоскам ткани. По каждой. По одной. Как будто каждая нашивка — это чьё-то имя. Которое он помнит. Которое не забудет. Которое не хочет забывать.

В этом жесте — тяжесть каждого дня, о котором нельзя забыть. Тяжесть каждого утра, когда он просыпался и видел лица тех, кто не проснулся.

Отец хочет что-то сказать. Я чувствую: он ещё не готов понять. Мой вывод для него слишком велик. Слишком тяжёл. Слишком похож на то, что он сам нёс всю жизнь, но не мог назвать.

Я тяну его за рукав.

— Пойдём, папа.

Он кивает. Как человек, который только что встал с колен и не знает, куда идти.

Мы уходим. Седоусый смотрит нам вслед. Не машет. Не кивает. Просто смотрит. Как смотрят на тех, кто уходит. И знает, что они вернуться. Или не вернуться. И это тоже будет правильно.

Вечер. Двор. Костёр.

Мы сидим на перевернутом ящике из-под картошки. Огонь горит низко. Дрова — берёзовые, с чёрными подпалинами — шипят, выпуская пар. Пахнет не смолой, а мокрой корой. Как после дождя, которого не было. Над двором висит запах дыма, берёзового листа и жареной картошки из соседнего окна. Чужой ужин. Чужая жизнь. Которая пахнет так же, как наша.

Отец сидит рядом. Молчит. Смотрит в огонь. Долго. Как смотрят на то, что не понимают, но чувствуют.

— Почему ты его понял, а я — нет? — спрашивает он наконец. Голос тихий. Хриплый. Я смотрю в огонь. Искры взлетают вверх. Гаснут.

— Потому что ты смотришь на форму, — говорю я. — На медали. На ордена. На то, что блестит. А нужно смотреть на то, оставляет ли человек тень.

Отец хмурится.

— Тень?

— Тень, — киваю я. — То, что остаётся после человека. Не медаль. Не орден. А след. То, что он оставил в земле. В людях. В тишине. Те, кто светится изнутри, — они не оставляют тени. Они оставляют свет. А те, кто мерцает снаружи, — они оставляют тень. Большую. Тяжёлую. Которая давит на тех, кто стоит рядом.

Огонь вздрагивает. Ветер наклоняет пламя вбок — на секунду, на две, — и тени на стенах беседки прыгают, как живые. Потом ветер стихает. Пламя выпрямляется. Будто ничего не было.

Я протягиваю ладонь к огню. Пламя тянется ко мне. Как живое. Тёплое. Не обжигает. Греет. Как рука, которая держит. Которая не отпускает. Которая знает, что ты вернёшься.

— Нужно перестать бояться видеть то, что скрыто, — говорю я тихо. Не отцу. Огню. Себе. Тому, кто сидит в груди и смотрит на мир через чужие глаза.

Отец молчит. В его поле — борьба. То, что бывает, когда человек понимает, что мир шире, чем он думал. Что за тем, что он строил всю жизнь, — за планами, за ГОСТами, за отчётами, — есть то, что не впишется ни в один план. Ни в один ГОСТ. Ни в один отчёт.

Он кладёт руку мне на плечо. Тяжёлую. Тёплую. Пахнущую дымом и потом. Тем самым, который въедается в ладони и не смывается. Даже после бани. Даже после тридцати лет.

— Ты уверен? — спрашивает он тихо.

— Нет, — отвечаю я честно. — Но выбора нет.

Отец смотрит на меня. Долго. И в этом взгляде — не понимание. Не согласие. Что-то другое. Что-то, что бывает, когда отец впервые видит в сыне того, кто старше его. И это страшно. И это правильно. И он ничего не может с этим сделать. И не хочет.

Ночь. Двор. Костёр.

Мама уходит спать. Дверь остаётся приоткрытой — на щёлку. Чтобы свет из коридора падал на порог. Чтобы мы знали: она рядом. Даже если спит.

Она останавливается на пороге. Оборачивается. Смотрит на нас — на меня и на отца, сидящих у костра. На огонь, который горит низко. На искры, которые взлетают вверх и гаснут.

— Не сидите долго, — говорит она. Голос тёплый. Уставший. — Завтра рано вставать.

— Хорошо, — кивает отец.

Мама уходит. Шаги удаляются по коридору — мягкие, осторожные, как кошка, которая не хочет будить.

Мы остаёмся одни. Я и отец. И костёр. И небо, на котором проступают первые звёзды. Не четыре. Тысячи. Холодные. Далёкие. Равнодушные. Но я знаю: среди них есть четыре. Те самые. Которые смотрят. Которые ждут. Которые не перемигиваются. Просто горят. Ровно. Неподвижно. Как свидетели, которые видели всё и не скажут. Потому что не нужно. Потому что они уже сказали. Молчанием.

Я не засыпаю. Не могу. Не хочу.

Я смотрю в огонь. И в огне вижу то, чего не видел раньше.

Не пламя. Не искры. А лица. Те, кто светится изнутри. Те, кто несёт груз. Те, кто не ищет наград. Их много. Больше, чем я думал. Они в каждом городе. В каждой деревне. В каждом дворе. Они сидят у костров. Стоят у станков. Лежат в больницах. Учат детей. Варят кашу. Пишут письма. Молчат. Потому что не знают, как сказать. Потому что боятся, что не поймут. Потому что думают, что они одни.

Но они не одни.

Они — кристаллы. Не те, что блестят. Не те, что звенят. А те, что светятся изнутри. Ровным, глубоким светом. Как свеча в окне. Не яркая. Просто — тёплая. Просто — живая.

И я понимаю: мы не просто ищем. Мы вспоминаем. По одному. По одному кристаллу за раз. По одному грузу за раз. По одному молчанию за раз.

Память — это не награда. Это груз. Кто несёт его честно — становится кристаллом. Кто превращает в украшение — превращается в стекло.

Это сказал седоусый. Не мне. Себе. Огню. Тому, кто сидел в нём тридцать лет и молчал.

Я смотрю в огонь. Берёзовые дрова потрескивают. Пар поднимается тонкой струйкой и растворяется в ночном воздухе.

И в этом потрескивании, в этом паре, в этом молчании — я чувствую запах.

Не дыма. Не берёзовой коры. Не жареной картошки из соседнего окна.

Запах мамы. Тот, что остался в воздухе после того, как она ушла. Тёплый. Сладковатый. С привкусом муки и чего-то ещё — того, что не выветривается, даже если открыть все окна. Даже если зима. Даже если ветер.

Он не уходит. Он просто становится тише. Как четыре ноты, которые больше не звучат извне — а звучат изнутри. Из самой структуры того, кто ты есть.

Отец смотрит в огонь. Молчит. Дышит. Живёт.

А я беру полено. Сухое. Берёзовое. С мокрым срезом, который пахнет горьковатым соком. И кладу его в огонь. Аккуратно. Не торопясь. Так, как кладут то, что должно гореть долго.

Полено принимает пламя. Шипит. Оседают. Становится частью костра.

И огонь горит ярче.

Я смотрю на него. И понимаю: завтра я буду искать. И послезавтра. И через месяц. И через год. Каждый день — один кристалл. Один груз. Одно молчание.

Но сегодня — огонь.

Сегодня — это полено, которое я положил в костёр. Это пар, который поднимается и растворяется. Это отец, который сидит рядом и молчит. Это небо, на котором четыре звезды горят ровно и неподвижно.

И этого — на сегодня — довольно. Больше — завтра.

ГЛАВА 18. РОДСТВО ДУШ

Ноябрь пах мокрым снегом и дымом из чьей-то трубы. Тем самым дымом, который не греет — просто висит в воздухе, как вопрос, на который никто не хочет отвечать.

Отец сидел за кухонным столом. Перед ним — старые карманные часы. Не те, что он носит на цепочке в жилетном кармане. Другие. С треснувшим стеклом. Стрелки застыли на без десяти три — он крутил их в руках медленно, задумчиво, как человек, который пытается собрать пазл, у которого не хватает половины деталей.

Это была его привычка. Когда нужно осмыслить то, что не влезает в привычный мир. Когда слова заканчиваются, а понимание ещё нет.

Я сидел напротив. Пил чай. Горячий. Обжигал нёбо. Пах чабрецом и чем-то ещё — тем самым, что бывает, когда чай заваривают не из пакетика, а из листьев, которые кто-то собрал сам, высушил на подоконнике и хранит в жестяной банке из-под монпансье.

Мама уже спит. Дверь в её комнату закрыта. Из-за двери — тихое, ровное дыхание.

Отец поднял взгляд. Смотрел на меня долго. Как смотрят на человека, которого видишь впервые. Не как на сына. Как на того, кто знает то, чего ты не знаешь.

— Так ты спросил, как зовут того седоусого? — произнёс он наконец. Голос хриплый. Как после долгого молчания.

— Спросил.

— Иван Кучма.

Отец произнёс это имя так, как произносят приговор. Не громко. Не тихо. Ровно. Как человек, который тридцать лет носил это имя в себе и только сейчас решился выпустить.

— Человек, через которого прокатилась такая тяжесть, что её с лихвой хватило бы на целую разведывательную роту.

Я поставил чашку на стол. Не пил. Слушал.

Хотя уже знал. Знаю всё, что он скажет. Знаю, потому что помню. Не от него. Из той жизни, которой не было. Из той симуляции, в которой я прожил предыдущую жизнь и умер на берегу озера. Из той памяти, которая живёт во мне, как тихий голос из глубины времён.

В той жизни Иван Кучма был моим дедом. Тем, которого я никогда не видел вживую. Но чья кровь текла в моих жилах. Чья усталость сидела в моих костях. Чьё молчание я слышал в каждой паузе между словами моей матери.

Отец крутил часы. Стекло скрипело под пальцами. Тихо. Как скрип старой двери, которую давно не открывали.

— Тридцать восьмой год, — сказал он. И голос его стал другим. Не отцовским. Не хозяйственным. А тем, которым рассказывают то, что болит.

Я закрыл глаза. И слушал. Не ушами. А тем, что помнит кровь. Тем, что живёт в костях. И я увидел.

Не рассказ. Не слова. Картинки. Живые. Пахнущие.

Степь. Бескрайняя. Выжженная солнцем до белизны. Пахнет полынью и пылью. Той самой пылью, которая забивается в нос, в горло, в глаза, и ты не можешь её выплюнуть, потому что она уже стала частью тебя.

Иван стоит посреди поля. В руках — вилы. Не для сена. Для того, чтобы копать. Яму. Для зерна, которое нужно спрятать. Потому что придут. Заберут. И скажут: «Недостача».

Ему двадцать шесть. Лицо худое. Скулы острые, как лезвие серпа. Глаза — серые, как ноябрьское небо. Те самые глаза, которые я видел в зеркале. Мои глаза. Его глаза.

Председатель колхоза. Три года. Три года он считал каждый колосок. Записывал в амбарную книгу. Сводил дебет с кредитом. Верил, что если всё делать правильно — будет правильно. Не будет.

Приходят ночью. Трое. В кожанках. С бумагой. «По обвинению в растрате социалистической собственности». Десять лет. Без права переписки.

Иван не кричит. Не сопротивляется. Просто ставит вилы в землю. Выпрямляется. Смотрит на жену — мою бабушку, которую я никогда не видел. Кивает. Раз. Медленно. Как кивают те, кто знает: слова не нужны. Слова — для тех, кто не помнит. А он — помнит. Всё.

Она не плачет. Стоит. Держит на руках ребёнка — моего отца. Которому тогда было два года. Который не запомнит. Который потом всю жизнь будет крутить в руках старые часы и молчать.

Лагерь. Воркута. Минус сорок. Пахнет мёрзлым углём и чужим потом. Тем самым запахом, который въедается в кожу и не выветривается. Даже после бани. Даже после тридцати лет.

Иван рубит уголь. Двенадцать часов. Кирка тяжёлая. Руки в кровь. Кровь замерзает на рукоятке. Утром — снова. Вечером — снова. Ночью — сон на нарах. Тесных. Вонючих. Пахнущих мочой и чужим дыханием.

Он не жалуется. Не пишет писем. Не просит. Просто рубит. И считает дни. Не до свободы. До весны. До того дня, когда можно будет написать прошение. Не о помиловании. О фронте.

Отец замолкает. Крутит часы. Стекло скрипит.

Я открываю глаза. Смотрю на него. На его руки. На те самые, которые крутят часы. На те самые, которые пахнут металлом и холодным воздухом. На те самые, которые тридцать лет держали в себе это имя.

— Война, — говорит он. И голос его становится тише. — Пишет прошение. Отправить на фронт. Как и многие сидельцы. Попадает в штрафную роту.

Я киваю. Я знаю. Штрафная рота — это не армия. Это мясо. Это те, кого посылают первыми. В минные поля. Под пулемёты. В болота, где вода по горло и дно засасывает, как пасть.

Иван выживает. Не потому что везёт. А потому что умеет. Умеет слышать. Умеет видеть. Умеет молчать. Умеет быть невидимым.

Разведрота. После штрафной — разведка. Потому что в штрафной он показал то, что нужно. Не храбрость. Храбрости у всех хватает. А тишину. Ту самую, которая бывает, когда ты лежишь в снегу три часа и не двигаешься. Когда враг проходит в трёх метрах. Когда ты слышишь его дыхание. Когда ты не дышишь.

Иван проходит всю войну в разведке. Четыре года. Не в окопах. В тылу врага. В лесах. В болотах. В деревнях, где каждый второй — предатель, а каждый первый — мёртв.

Он не рассказывает. Не хвастается. Не показывает шрамы. Просто живёт. И помнит. Каждого, кого не спас. Каждого, кого убил. Каждого, кто умер рядом.

Отец ставит часы на стол. Стекло бледно поблёскивает в свете лампы.

— После войны, — говорит он. И в голосе его что-то ломается. Не громко. Тихо. Как трещина в стекле. — Ещё три года. Карпаты. Бандеровцы. Леса. Горы. Туман.

Я закрываю глаза. И вижу.

Карпаты. Не те, что на открытках. Не те, что в песнях. А те, что пахнут гнилью и порохом. Те, где каждый куст может стрелять. Где каждая тропинка — засада. Где утро начинается не с рассвета, а с выстрела.

Иван ходит по лесам. Не один. С группой. Пять человек. Семь. Иногда три. Иногда один. Он не считает. Считать — значит помнить. А помнить — значит болеть.

Он не герой. Не злодей. Просто человек, который делает то, что нужно. Не потому что хочет. А потому что больше некому. Потому что если он не пойдёт — пойдёт другой. И другой не вернётся.

Три года. В лесах. В горах. В тумане. Не ради наград. Не ради медалей. Не ради того, чтобы кто-то сказал «спасибо». Ради совести. Той самой, которая не даёт спать. Которая шепчет: «Ты мог. Ты не сделал. Ты виноват».

Отец молчит. Долго. Смотрит на часы. На треснувшее стекло. На стрелки, которые не идут.

— В его личном деле ни слова о подвигах, — говорит он наконец. Голос тихий. Почти шёпот. — Только сухие записи. «Ранен». «Выполнил задание». «Представлен к награде». Но без самой награды.

Молчание. Долгое. В нём слышно, как где-то за окном ветер перебирает голые ветки.

— Ни одной медали. Ни одного ордена. Только нашивки за ранения. Тёмные. Матовые. Не блестят. Не звенят. Просто — есть. Как шрамы. Как память.

Я смотрю на отца. На его лицо. На те самые морщины, которые я знаю наизусть. На те самые глаза, в которых я вижу себя.

И в этот миг я чувствую.

Не ушами. Не глазами. Тем, что живёт под рёбрами. Тем, что помнит.

Родовое пятно на правой ладони дёрнулось. Коротко. Сухо. Как будто кто-то очень древний приложил к коже палец и сказал без слов: «Здесь. Ты — здесь. Ты — часть».

Три лепестка вспыхнули — ровно, в такт чему-то, что я не слышу, но чувствую в зубах. В костях. В той самой крови, которая текла в жилах Ивана Кучмы. Которая течёт в моих жилах. Которая будет течь в жилах тех, кто придёт после меня.

Я поднял правую руку. Посмотрел на пятно. На три лепестка. На ту самую метку, которая была со мной с рождения. Которую я не понимал. Которую я боялся. Которую я прятал.

И теперь — понимаю.

Это не просто пятно. Это — нить. Та самая, которая тянется от меня к Ивану. К отцу. К матери. К тем, кто был до меня. К тем, кто будет после. Нить, которую не перережешь. Которую не сожжёшь. Которая просто — есть. Как кровь. Как дыхание. Как то, что всегда было.

— Папа, — говорю я тихо. — Покажи мне его. Не рассказывай. Покажи.

Отец смотрит на меня. Долго. Внимательно. Как смотрят на человека, который просит то, что нельзя дать словами.

— Как?

— Закрой глаза. Вспомни его. Не лицо. Не голос. Запах. Тот самый, который ты помнишь. Который помнила мама. Который помню я.

Отец закрывает глаза. Медленно. Как человек, который ныряет в воду, которая холоднее, чем он думал.

И я вижу.

Не отца. Не кухню. Не часы на столе.

Я вижу Ивана.

Не молодого. Не старого. Того, который просто — есть. Стоит посреди кухни. В старой гимнастёрке, выцветшей до белизны. В сапогах, которые пахнут землёй и порохом. В руках — ничего. Пустые. Но в этих пустых руках — всё. Всё, что он нёс. Всё, что не смог положить. Всё, что не смог сказать.

Он смотрит на меня. Серыми глазами. Моими глазами. Его глазами.

И улыбается. Не широко. Не радостно. Просто — улыбается. Как человек, который наконец увидел того, кого ждал.

— Внук, — говорит он. Не громко. Не тихо. Ровно. Как говорят то, что не нужно объяснять.

И я чувствую. Как нить — та самая, которая тянулась от меня к нему всю жизнь, — натягивается. Не рвётся. Не ослабевает. Натягивается. Как голос, который наконец нашёл свои слова. Как тишина, в которой вдруг становится слышно то, что всегда звучало, но никто не слушал.

И в этой ноте — не звук. Не мелодия. А тишина. Та самая, в которой живут все слова, которые не были сказаны. Все объятия, которые не были даны. Все «прости» и «спасибо», которые застряли в горле на тридцать лет.

Отец открывает глаза. Смотрит на меня. И в его глазах — то, чего я не видел раньше. Не страх. Не гордость. Не любопытство. А облегчение. То самое, которое бывает, когда ты тридцать лет нёс камень и наконец положил его. Не потому что устал. А потому что кто-то сказал: «Можно. Положи. Я понесу дальше».

— Ты видел его, — говорит отец. Не вопрос. Констатация.

— Видел.

— И?

— Он устал, папа. Он очень устал. Но он не жалуется. Он никогда не жаловался. Он просто — нёс. И нёс. И нёс. Пока не стало некому нести.

Отец молчит. Долго. Смотрит на часы. На треснувшее стекло. На стрелки, которые не идут.

А потом — медленно, очень медленно — берёт часы. Открывает заднюю крышку. Внутри — механизм. Старый. Ржавый. Застывший. И маленькая фотография. Выцветшая. Пожелтевшая. На ней — молодой мужчина. Серые глаза. Острые скулы. Улыбка, которая не доходит до глаз.

Иван Кучма. Мой дед. Тот, которого я никогда не видел. Тот, которого я всегда помнил.

Отец кладёт фотографию на стол. Рядом с чашкой чая. Рядом с часами. Рядом со мной.

— Он был хорошим человеком, — говорит отец. Голос хриплый. Тихий. Как после долгого крика. Только он не кричал. Он молчал. Тридцать лет молчал.

— Да, — говорю я. — Был.

Ночь. Я лежу в кровати. Не сплю. Смотрю в потолок.

Побелка. Трещина в углу — та самая, похожая на реку.

И в этой трещине — я вижу. Не дерево. Не корни. Не ветви. А нити. Тонкие. Золотые. Живые. Они тянутся от меня — к отцу. К матери. К Ивану. К тем, кого я не знаю. К тем, кого я ещё не нашёл. К тем, кто ждёт.

И каждая нить — это не долг. Не обязанность. Не груз. А память. Та самая, которая не уходит. Которая живёт в крови. В костях. В том месте, где заканчивается слово и начинается то, что слово не может сказать.

Я закрываю глаза. И чувствую запах. Не лаванды. Не крахмала. Не молока. А земли. Той самой, которая пахнет полыньёю и пылью. Которая помнит шаги тех, кто по ней ходил. Которая не забывает. Никогда.

И в этом запахе — Иван. Не призрак. Не воспоминание. Просто — Иван. Тот, который рубил уголь в Воркуте. Который лежал в снегу в штрафной роте. Который ходил по карпатским

лесам три года. Который не получил ни одной медали. Который не написал ни одного письма. Который просто — был.

И этого — хватает.

Я не засыпаю. Не сразу. Лежу. Смотрю в потолок. Как лежат те, кто наконец положил камень. Не потому что устал. А потому что можно. Потому что камень больше не давит. И потолок — просто потолок. Не небо. Не пропасть. Просто — белая краска. И трещина. Та самая, похожая на реку.

А на тумбочке — часы.

Но я знаю: завтра отец заведёт их. И они пойдут. Не потому что починил. А потому что можно. Потому что пора. Потому что тридцать лет молчания — это достаточно.

И стрелки — пойдут. Медленно. Ровно. В такт тому, что было. В такт тому, что будет.

ГЛАВА 19. ИСПЫТАНИЕ

Через неделю после того, как я увидел Ивана Кучму, я опрометчиво полез туда, куда не нужно попадать никому.

Если бы я хотя бы приблизительно догадывался о мощности этой сущности — гнал бы эту мысль от себя ещё долгие годы. Но мне было семь. И семь лет — это возраст, когда ты думаешь, что уже всё понял. Что уже всё можешь. Что уже никто не страшен.

Я ошибался.

В те выходные мы с отцом поехали на базу отдыха. Проверить подготовку к зиме. Котельную. Трубы. Снег, который уже лёг на крыши домиков и пахнет так, как пахнет только первый снег — чисто, холодно, как будто кто-то только что выстирал небо.

Отец ушёл проверять котельную. Я занял пустующую столовую. В помещении уютно потрескивала дровяная печь. На её чугунную плиту я поставил чайник со снегом. Снег таял медленно, с тихим шипением. Пахло мокрым деревом и чем-то сладковатым — компотом из яблок, которые уже начали подгнивать.

Я сел на табурет. Закрыл глаза. И скользнул.

Не по золотым нитям. Не по тем, что я знал. По чёрным. По тем, что я чувствовал, но никогда не трогал. По тем, что пахли жжёной изоляцией и озоном. По тем, что тянулись от города к городу, как корни больного дерева.

Сфера моего внимания скользнула вниз. Сквозь этажи. Сквозь стены. Сквозь таблички с номерами кабинетов. Мимо рубиновых звёзд Кремля. Мимо тяжёлого здания Госплана. Мимо сухих бюрократических табличек, за которыми прятались уставшие улыбки мелких чиновников.

И уперлась в дубовую дверь. С табличкой: «Старший специалист отдела...»

И тут пришёл удар.

Океан.

В моё сознание хлынул океан чужой смерти. Жидкий. Горячий. Живой. Он затопил разум, как вода затапливает подвал, — медленно, неумолимо, до самого потолка.

Сотни. Тысячи. Предсмертные хрипы. Каждое — чьё-то последнее. Каждое — чья-то точка.

Я увидел. Телом. Каждой клеткой.

Как раскалённые докрасна кочерги входят в плоть насквозь. Медленно. С шипением. С запахом горелого мяса, который въедается в ноздри и не выветривается. Тело висит на дыбе. Руки вывернуты. Рот открыт. Но крик не выходит. Потому что голосовые связки уже сожжены.

И где-то в глубине этого — звук. Тиканье. Ровное. Спокойное. Часы на стене кабинета. Тик. Тик. Тик. Время не остановилось. Время считало. Не секунды. Жертвы.

Как расплавленный свинец льётся в раскрытый рот. Шипя на зубах. На языке. На нёбе. И вкус — металлический, сладковатый, тошнотворный. И глаза — открыты. И видят. И не могут закрыться. Потому что веки сожжены.

Воздух в столовой пропитался запахом горелой шерсти. Меди. Выгорающего костного мозга. Каждый вдох давался как проглоченный крик. Не мой. Чужой. Тысячи чужих криков, которые стали одним. Моим.

Боль прошла меня насквозь. Изнутри. Словно ржавые арматурные штыри вонзились в каждую клетку. Во все. Одновременно. И каждая клетка закричала. Своим голосом. Своим криком. Своей смертью.

На миг я перестал быть собой.

Я стал ими всеми. Каждым. Каждой. Каждым, кто висел на дыбе. Каждым, кто пил свинец. Каждым, кто кричал и не мог кричать. Я ощутил их ужас. Липкий пот безысходности. Финальный спазм диафрагмы. Тот, после которого тело ещё дёргается, но уже не живёт.

И перед тем как тьма поглотила меня — на самой границе восприятия, на самом краю того, что ещё можно было увидеть, — проступило лицо.

Серый. Невзрачный. Человечек. С блестящей лысиной. С блудливой, участливой улыбкой. Улыбкой, которой улыбается палач, который искренне любит свою работу. Который не ненавидит. Не злится. Просто — делает. Как делает столяр, который строгает доску. Как делает мать, которая пеленает ребёнка. С любовью. С вниманием. С удовольствием.

«Палач», — успел догадаться я. И тьма проглотила меня целиком.

Очнулся я от холода.

Ледяного. Обжигающего. Словно кто-то окатил меня из ведра колодезной водой. И бил по щекам. Настойчиво. Как бьют того, кто не хочет просыпаться.

— Ну и напугал ты меня!

Голос отца. Дрожащий. Тяжёлый. Как голос человека, который только что бежал. И не знает, успел или нет.

Я попытался открыть глаза. Веки были тяжёлыми. Я попытался сесть. Мышцы превратились в кисель. Тело не слушалось. В ушах стоял высокочастотный звон. Перед глазами плавала кровавая пелена.

— Что это было?! Ты посинел весь!

Отец тяжело дышал. Я чувствовал его дыхание на своём лице. Горячее. Влажное. Пахнущее табаком и страхом. Тем, который бывает, когда ты видишь, как твой ребёнок тонет. И не можешь достать.

— Не вздумай больше так рисковать, — отец присел рядом. Сгрёб меня в охапку. Вместе с табуретом. Его руки были ледяными. Мокрыми. Дрожащими. — Ты мокрый, как мышь. Будто тебя через мясорубку прокрутили.

Я с трудом разлепил губы. Во рту стоял густой привкус пепла. Сожжённой бумаги. И чего-то ещё — сладковатого, тошнотворного. Как расплавленный свинец на зубах.

— Он... слишком сильный, — просипел я. Голос был чужим. Хриплым. Как голос старика, который слишком долго кричал. — Я даже не понял, как он поймал петлю. Просто захлопнул капкан.

Отец нахмурился. Пытался осмыслить слова семилетнего ребёнка. Не получалось.

— Кто?

Я не ответил словами. Вместо этого я снял блокираторы. И показал ему образ. Человечек с лысиной. С блудливой, участливой улыбкой. С глазами, в которых не было ни ненависти, ни жалости. Только работа. Только удовольствие. Только любовь к своему делу.

В тот момент, когда я передал ему этот слепок ужаса, я почувствовал резонанс. Отец не просто увидел картинку. Он узнал. Чем-то более древним. Чем-то, что живёт в крови. В

костях. В том месте, где заканчивается память и начинается инстинкт. Где-то в глубинах его генетической памяти, в архивах предков, этот человек уже оставил свой след. Не один. Тысячи.

Отец вздрогнул всем телом. Едва не выронил меня. Пальцы, сжимавшие мои плечи, побелели.

— Малюта, — прошептал он. Голос сел до шёпота. — Это же... Малюта.

Я кивнул. Не потому что знал это имя. А потому что тело отца знало. И тело отца не лгало.

— Он везде, — сказал я. Боролся с тошнотой. — Его линии пронизывают город, как метастазы. И каждый узел — чья-то сломанная жизнь. Или казнь.

Отец молчал. В его ауре бушевала не просто животная паника. Это было нечто глубже. Крушение картины мира. Осознание того, что советская реальность, которую он строил годами, — лишь тонкая декорация. Тонкая, как папиросная бумага. А за ней — бездна. Где водятся такие твари.

— Что теперь? — спросил он наконец. Голос сел до шёпота.

Я закрыл глаза. Попытка собрать осколки рассыпающегося сознания воедино. Осколки были слишком мелкими. Слишком острыми. Каждый резал.

— Теперь... теперь я знаю его имя. И вкус его силы.

— И что это нам даст?

— Шанс, — я сжал кулаки. Ногти впились в ладони. Кровь начала возвращаться. Медленно. По капле. Как возвращается жизнь в отмороженные пальцы. — Если я смогу проследить, куда ведут его нити, возможно, найду способ разорвать их. Или... обратить против него самого.

Отец глубоко вздохнул. Смотрел куда-то сквозь стену. Не на меня. На что-то другое. На что-то, что было дальше. Дальше этой столовой. Дальше этого дня. Дальше этой жизни.

— Ты уверен, что готов к этому, сын?

Я посмотрел ему в глаза. Прямо в центр зрачка. Передавая всю тяжесть увиденного. Весь океан. Все тысячи криков. Весь свинец на зубах.

— Нет. Но выбора нет.

Выбора действительно не было.

В ту же секунду на моей левой руке вспыхнул знак. Не появился. Вспыхнул. Как будто он был там всегда. Просто ждал. Ждал момента. Ждал, пока я увижу то, что увидел. Ждал, пока я стану тем, кем стал.

Треугольник. С тремя точками-«зрачками» внутри. Зеркальный. Холодный. Синий. Будто второе сердце под кожей. Чужое. Не моё. Но — моё. Как шрам, который не болит, но помнит. Как тот, который ты получил не в этой жизни. Но помнишь.

Его зеркальность тревожила. Это не просто метка. Это вызов. Он отражает меня. Как отражение в чёрной воде. Как то, что ты видишь, когда смотришь в колодец и не видишь дна. Но знаешь, что оно есть.

И ещё — он тикал. Словно часовой механизм. Отсчитывающий время. Не до взрыва. До встречи. И в этом тиканье я слышал не угрозу. Обещание. Обещание встречи. Обещание, что однажды мы с ним останемся наедине. И тогда я узнаю. Из каких нитей он сплетён на самом деле. Из чего сделана его улыбка. Из чего сделана его любовь к своему делу.

Дома я лежал в постели. Не спал. Не мог. Перед глазами стояло лицо. Серое. Невзрачное. С блудливой, участливой улыбкой.

Я развернул ментальную карту города. В голове. В том месте, где живут линии. На ней пульсировала новая метка. Красный треугольник. С чёрной точкой в центре. Палач. Малюта. Тот, кто тикает.

Я перевернулся на бок. Тело заныло. Каждая клетка помнила океан. Каждый нерв помнил свинец. Я сжал зубы. Во рту снова появился привкус гари. Знакомый. Который теперь будет со мной всегда.

Его пища — страдания. Он питается болью, как высший хищник кровью. Каждая агония делает его толще. Сытнее. Сильнее. Он не убивает ради убийства. Он убивает ради еды. И это страшнее. Потому что голод не знает жалости. И не останавливается.

Скрипнула дверь.

Мама вошла бесшумно. Остановилась на пороге. Не включила свет. Просто стояла. Смотрела. Как смотрят на ребёнка, который спит. И не спит. И ты знаешь, что он не спит. Но не хочешь будить. Потому что боишься того, что он скажет.

— Опять работаешь? — в её голосе смешались привычная тревога и бесконечное терпение. Смесь, которая бывает у матерей, когда они знают, что их ребёнок делает что-то опасное. Но не могут остановить. Потому что знают: если остановят — будет хуже.

— Изучаю, — ответил я. Не открывая глаз. — Он играет людьми. Как будто они деревянные солдатики. Которых можно сжечь. И не жалко. Потому что они — не люди. Они — топливо.

Она подошла. Села на край кровати. Взяла мою руку в свои ладони. Её пальцы были тёплыми. Сухими. Пахли валерьянкой и чем-то ещё — горьковатым, как полынь, которую она только что перебирала для чая. Она не успела вымыть руки. И не стала. Потому что руки нужны были не для мытья. А для того, чтобы держать.

— Помни: ты не один, — сказала она тихо. — Мы с папой рядом. Что бы ни случилось.

Я открыл глаза. Посмотрел на неё. На её лицо. На морщинки у глаз. На прядь, которая выбилась из волос и липла ко лбу. На руки, которые пахли валерьянкой и полынью. На всё то, что было домом. Что было жизнью. Что было тем, ради чего стоило вставать.

— Я знаю, мама, — сказал я тихо. — Я знаю.

Она наклонилась. Коснулась губами моего лба. Коротко. Сухо. Как ставят точку в конце предложения. И от этого стало легче. Не потому что поцелуй. А потому что точка. Потому что кто-то сказал: здесь конец. Дальше — сон.

Она вышла. Дверь осталась приоткрытой — на щёлку. Чтобы свет из коридора падал на порог. Чтобы я знал: она рядом. Даже если не войдёт.

А я остался лежать. Смотреть в потолок. И думать.

Нужно найти источники. Где он берёт новых мучеников? Закрытые больницы? Специзюлаторы? Психиатрические лечебницы? Те места, куда люди входят и не выходят. Те места, где кричат и никто не слышит. Те места, где боль — это не исключение. А норма.

И нужно изучить его анатомию. Понять правила Игры. Найти слабые места в его броне. Те места, где хитин тоньше. Где суставы не защищены. Где можно ударить. Один раз. Точно. Насмерть.

Я закрыл глаза. Провалился в тяжёлый, восстанавливающий сон. Пульсирующий свет зеркального треугольника на левой руке отбрасывал на потолок синие всполохи. Эхо криков тех, кого убил Палач, постепенно стихало. Превращалось в низкий гул. В шёпот. В тишину. Их ярость осталась во мне. Она стала моими союзниками. Моими голосами. Моим оружием.

Где-то вдаль, на грани слышимости, Палач смеялся. Его смех звучал как перезвон тяжёлых железных цепей в морозном воздухе. Устало. Как смеётся тот, кто слишком долго работал. И хочет отдохнуть. Но не может. Потому что голод не даёт.

Я чувствовал: он думает, что загрыз меня. Сломал. Выпил досуха при первой встрече. Думает, что я — очередной. Что я — как все. Что я ломаюсь. Забуду. Сдамся.

Но он не знает главного.

В каждой из тех тысяч смертей, которые мне пришлось выпить, я нашёл не только боль. Я нашёл их жажду жизни — ту самую, которую они несли до последнего вздоха. Ту самую,

которую Палач выпил, но не смог переварить. Потому что жажда жизни не переваривается. Она остаётся. В зубах. В костях. В том месте, где заканчивается боль и начинается ярость.

И потому, засыпая, я улыбаюсь. Одним уголком рта. Левым. Правый не слушается — мышцы ещё помнят свинец. Улыбка выходит кривой. Несимметричной. Как лицо, которое только что вернули из чужого тела и ещё не подогнали по размеру.

Потому что знаю: даже самая прочная стальная паутина рвётся. Особенно если её рвёт тот, кто видел тысячи перерезанных нитей. И выжил.

ГЛАВА 20. ТЕНЬ НА ЛАДОНИ

Всю неделю я пролежал в постели, распятый между мирами.

Мама меняла простыни по несколько раз в день — тонкая бязь темнела от влаги так быстро, словно тело решило истончиться и просто испариться сквозь матрас. Пот выступал не каплями. Он застывал сплошным ледяным панцирем на лбу и груди. Иногда я ловил себя на том, что не чувствую пальцев — они растворялись в воздухе, теряя плотность, превращаясь в бледные тени рук.

Время сошло с ума. Оно то растягивалось в бесконечные часы глухого колокольного звона, то схлопывалось до мгновения, оставляя после себя лишь тошноту и головокружение. Я чувствовал, как каждая клетка перестраивается изнутри: рвутся старые нити, сплетаются новые. Тело училось дышать вакуумом.

Но внутри происходило нечто иное.

Я неустанно штопал внутреннюю структуру каналов. И с холодным ужасом осознал: то, что я счёл поражением, стало прорывом. Контакт с Палачом не выжег меридианы — он закалил их. Пропускная способность выросла втрое. Теперь я улавливал не только дыхание людей за стеной, но и отголоски смертей за десятки километров.

Отец пришёл далеко за полночь.

Я услышал его раньше, чем увидел: ключ в замке — два оборота, но пауза между ними длиннее обычного. Как будто он стоял у двери и не решался войти. Как будто за дверью было то, что он не хотел нести в дом.

Он вошёл в комнату, и воздух вокруг него стал плотным, будто пропитанным свинцом. Отец был белым, как известь. Я не стал открывать глаза полностью — мне хватило спектра его ауры. Багровый, пульсирующий комок язвы у солнечного сплетения. Но это была лишь физиология. Хуже были рваные прорехи вокруг головы — кто-то голыми руками вырвал куски его света.

В руках он сжимал карманные часы. Те самые, с треснувшим стеклом. Стрелки застыли на без десяти три. Он крутил их в пальцах — медленно, бессознательно, как человек, который не знает, куда деть руки. Стекло скрипело под пальцами. Тихо. Как скрип старой двери, которую давно не открывали.

— Что случилось? — мой голос прозвучал хрипло, чужеродно.

Он опустился на стул рядом с кроватью. Сжал кулаки так, что костяшки треснули, как сухое дерево. Часы перекочевали в левую руку. Правая легла на колено. Пальцы барабанили по ткани брюк — неровно, сбивчиво, как капает кран, который обещали починить три месяца назад. Кап. Пауза. Кап. Пауза длиннее, чем нужно. Будто кран не знает — течь или остановиться.

— Он вычислил нас.

Голос отца дрожал. В нём больше не было стали директора. Там была пустота. Та самая, которая бывает, когда человек слишком долго кричал и голос сорвался. Не хрипота. Пустота.

Я остался спокоен. Просто вопросительно поднял бровь.

— Сегодня утром. Горком. Меня выдернули из машины прямо у подъезда. Потребовали десять закрытых тентами «Уралов». Для нужд обороны.

— И что?

— Вечером водители вернулись. Те, кто сохранил рассудок... — он сглотнул, кадык дёрнулся вверх-вниз. Пальцы на часах замерли. — Они выглядят как зомби. А один сошёл с ума. Забился в бытовку и воет. Всё твердит одну фразу...

Отец наклонился ко мне, обдавая жаром чужой лихорадки.

— «Они их всех убили! Они рубили их на части!»

Пауза. Где-то за окном скрипнула качель. И замерла. Как будто тоже не хотела слышать.

— Другие рассказали шёпотом, оглядываясь на тёмные окна конторы. Челябинск. Колония строгого режима. Десять полных грузовиков. Отрубленные головы. Ноги. Руки. Туловища, сваленные вповалку. Все кузова залиты кровью так, что её уже не берёт ни керосин, ни паяльная лампа. За руль этих машин больше никто не сядет.

Я закрыл глаза.

Я давно всё понял. Это привет от Палача. Не послание. Не предупреждение. Привет. Как открытка. Как кивок через улицу. Короткий. Равнодушный. Как человек, который здороваются с соседом, выходя за молоком. Только вместо молока — тысяча перемолотых судеб.

Я провалился глубже.

Увеличить поле сканирования до сорока километров в сторону Челябинска оказалось легко — каналы теперь работали как прожекторы. Нашупать очаг страдания было всё равно что войти в горящий амбар. Немного «крутануть» пространство назад...

И я увидел.

Прибыла зондеркоманда. Без знаков отличия. В глухих тёмных шлемах — таких ещё не шили ни для одной спецслужбы Союза. Они выгнали лагерную охрану за периметр. Просто оттеснили стволами автоматов в снег.

А потом из морозного воздуха соткался он.

Плешивый. Маленький. Враскачку, будто пьяный. Навалилась непередаваемая тяжесть. Миллионы тонн воды на грудь. Человеческая воля просто погасла. Люди превратились в кукол со стеклянными глазами.

Он всю ночь махал топором. Не стрелял. Рубил лично. Каждого заключённого. Я видел, как его бельма светятся багровым, а с лезвия стекает не кровь — густые чёрные тени. Каждая капля такого дёгтя была пойманной душой. Он сожрал тысячу жизней за одну ночь.

Я сканировал, и мои собственные пальцы сжимались в кулаки — непроизвольно, как будто я сам держал топор. Во рту стоял привкус не крови. Хуже. Привкус чистого спирта. Стерильный. Как будто кто-то протёр лезвие перед тем, как рубить. Зубы свело — не от холода, а от того, что челюсть сжалась сама, без команды, и я не мог её разжать. В висках гудело — низко, утробно, как трансформатор, который работает на пределе.

Я ощутил послевкусие его пиршества — горькую золу на языке, от которой свело скулы. Это было не просто видение. Я впитал эхо его силы. И теперь знал страшное: он чувствует меня тоже. Мой отпечаток на его трапезе.

Когда я открыл глаза, реальность чуть дрогнула. На месте лагеря теперь суетились пятнадцать бульдозеров. Они спешно равняли промерзшую землю в одну идеальную бетонную гладь. Стерильность. Никаких следов.

Он не просто убивает. Он стирает ластиком саму память о материи.

Я вынырнул из видения рывком, как из ледяной воды. Зубы стучали. Не от холода. От того, что челюсть свело на последнем кадре — на бульдозерах, которые равняли землю. Я разжал зубы с трудом. Сустав щёлкнул. В ушах стоял гул — низкий, утробный, как далёкий лай собаки, который не прекращается.

Тело лежало на кровати. Моё. Чужое. Я чувствовал каждую косточку отдельно — как чувствуешь пальцы, когда они отходят после мороза. Покалывание. Боль. И тепло, которое

возвращается не сразу, а по капле. Как вода, которая просачивается сквозь трещину в плотине. Медленно. По капле. Но уже не остановишь.

Я лежал, глядя в потолок. Побелка. Трещина в углу, похожая на реку. За ней — перекрытие. За перекрытием — чердак. За чердаком — звёзды. Но я не считал звёзды. Я считал то, что знал.

Он знает, где мы. Пусть вектор смазан, но направление ему известно. Он дал нам это понять через Челябинск.

Я потянулся за кружкой с водой. Рука дрожала. Вода расплескалась. Капли упали на простыню — тёмные пятна на белой ткани. Я смотрел на них и думал о том, что завтра эти пятна высохнут. Исчезнут. Как будто их не было.

Как будто не было Челябинска.

Он показал цену следующего шага. Если я попытаюсь просканировать его сеть снова — следующая партия грузовиков пойдёт не в Челябинск. Она придёт сюда. Ко мне домой. К этой трещине в потолке. К маминым рукам, которые пахнут мукой.

Я поставил кружку. Откинулся на подушку. Закрыл глаза. Открыл.

Он неуязвим. Его защита выстроена идеально, отработана веками. Бетонированная площадка над телами — это символ. Он не просто убивает. Он стирает. И стирание — это не конец. Это начало голода. Потому что после стирания — пустота. А пустота — это то, чем он питается.

На левой руке пульсировал новый знак: зеркальный треугольник с тремя «зрачками». Он не болел. Он тикал. Словно часовой механизм бомбы, отсчитывающий время до детонации.

А чего я не знаю — того больше. Кто стоит выше? Есть ли тот, кто держит ниточки самого Палача? Как разорвать его связь с государственной машиной, если машина сама кормит его боянями? Почему зеркало? Что означают три «зрачка» в моём собственном теле?

Вопросы множились. Ответов не было. Только сухость во рту. Только пот, который проступает сквозь бязь. Только тишина знака на левой руке, которая кричит громче любого тиканья.

Я встал. Дошёл до окна. Ноги ватные. Пол холодный. Пахнет остывшим потом и чем-то лекарственным — тем самым, что остаётся, когда тело слишком долго боролось само с собой. Я прижался лбом к стеклу. Холод проник под кожу. В кости. В то место, где живёт терпение.

За окном — двор. Зима. Снег лежит ровно, как простыня, которую никто не мял. Ветки стоят голые и не двигаются. Даже ветер не решается их тронуть.

Но под этим миром — другой. Тот, в котором тикает не часы, а счётчик. Тот, в котором крики не звучат — они складываются. Один к одному. Тысяча к тысяче. Пока не станут одним гулом, от которого лопаются перепонки у тех, кто случайно подошёл слишком близко. И этот гул — не звук. Это пища. Чья-то. Постоянная. Ненасытная.

Я вернулся в кровать. Сел. Спина упёрлась в стену. Ноги вытянуты. Пальцы на коленях сжаты — произвольно, как будто я сам держал топор.

Что я знаю? Его сила — прямая функция чужой боли. Чем сильнее агония, тем жирнее он становится. Сеть глобальна. Москва — лишь центральный узел. Он носит маску Системы. Приказы Горкома, секретные распоряжения Совмина — для него это просто удобные перчатки. А слабость — зависимость от жертв. Перекрой кислород страданий — и он начнёт голодать. Эти знания остры. Они режут пальцы. Но из них можно выковать клинок.

Я пока умею только рвать плоть реальности. Я — оружие нападения. Значит, первым делом нужно изучить анатомию защиты. Найти способ обернуть его же боль против него самого.

Я закрыл глаза. В ушах стоял звон цепей. Но теперь сквозь этот хаос я слышал ритм. Метроном его сердца. Он показал свою силу. Теперь я покажу упорство.

Мама не скрипнула дверью.

Я услышал, как она остановилась в коридоре. Как переступила с ноги на ногу. Как её рука легла на дверную ручку и замерла. Она стояла так, может быть, минуту. Может, две. Слушала моё дыхание. Считала вдохи. Убеждалась, что я жив.

Потом вошла. Босиком. Она научилась ходить так, что пол не жаловался. В руках — чашка с тяжёлым травяным паром. Полынь, зверобой, мёд. Запах горький, густой, живой. Тот самый, которым бабушка лечила всё — от простуды до тоски.

Она поставила чашку на тумбочку. Рядом — блюдо с двумя сухарями. Положила их так аккуратно, будто это было самое важное, что она сделала за день. Может быть, и было.

— Простыни опять мокрые, — сказала она тихо. Голос ровный. Уставший. — Третий раз за сегодня меняю.

Она села на край кровати. Не спрашивала, как я. Не спрашивала, что случилось. Она видела моё лицо — восковое, сосредоточенное, сжатые до побелевших костяшек кулаки — и понимала: слова сейчас не нужны. Слова — роскошь для тех, у кого есть время подбирать их.

Её рука легла мне на лоб. Тёплая. Сухая. Пахла мёдом и чем-то ещё — тем самым, что бывает, когда человек слишком долго держал в себе страх и наконец решил его отпустить.

— Пей, — сказала она. — Остынет.

Я открыл глаза. Взял чашку. Отпил. Горько. Горячо. Живительно. Как глоток воздуха после долгого погружения.

Она сидела рядом. Молчала. Её пальцы гладили меня по голове — медленно, ритмично, как в детстве. Как будто я снова был маленьким. Как будто мир снова был простым. Как будто не было Челябинска. Не было Палача. Не было тысячи перерезанных нитей.

Но я знал: это не возврат. Это зазор. Тот самый, в котором тело переводит дыхание перед следующим шагом. Не тишина. Задержка перед вдохом.

Я допил чай. Поставил чашку на тумбочку. Рядом с сухарями, которые она не тронула. Рядом с часами, которые отец оставил на столе. Стрелки всё ещё на без десяти три.

Мама встала. Поправила одеяло. Подоткнула край под подбородок — коротко, привычно, как закрывают книгу, которую дочитали до середины.

Она вышла. Дверь осталась приоткрытой — на щёлку. Чтобы я слышал, как она ходит по коридору. Чтобы знал: она рядом. Даже если не войдёт.

Ночью я проснулся от того, что левая рука горела.

Не тикала. Не пульсировала. Горела. Сухим, химическим огнём. Треугольник с тремя «зрачками» светился в темноте мертвенно-синим, освещая постель. Синий свет падал на потолок. На трещину в углу.

Я смотрел на неё. Долго. Не пытаюсь понять. Не пытаюсь прочитать. Просто смотрел. Как смотрят на реку, которая течёт не для тебя. Которая текла до тебя. Которая будет течь после.

И в этом свете, прорезающем тьму комнаты, я увидел внутренним взором: одна из силовых линий тянулась строго на север. К Москве. Она пульсировала. Толкалась в стенки мироздания. Ждала команды. Ждала меня.

И в этой пульсации я слышал не угрозу. Не обещание. Усталость. Та самая, которая бывает у того, кто очень давно не спал. Кто устал. Но не может остановиться. Потому что если остановится — умрёт. Не физически. Иначе. Умрёт как функция. Как тот, кто нужен.

За окном — зима. Тихая. Скрипучая. С запахом печного дыма и мёрзлой земли. С тем особым хрустом снега, который бывает только в три часа ночи, когда весь двор спит и только луна смотрит.

На тумбочке — чашка. Пустая. Рядом — блюдо. Сухари нетронуты. Мама ушла. Дверь приоткрыта.

А внутри — тишина. Не та, которая пугает. Не та, которая давит. Та, которая ждёт. Которая знает, что ты придёшь. Но не торопит.

Я закрыл глаза. Линия к Москве пульсировала где-то на севере. Живая. Тёплая. Ждущая.

А я — здесь. В этой кровати. С этим знаком на левой руке. С трещиной в углу, которая похожа на реку. С двумя сухарями на блюде, которые я так и не съел.

С часами на столе, стрелки которых всё ещё на без десяти три.

Время не двигалось. И я — тоже. И это было правильно. Потому что прежде чем идти — нужно остановиться. Прежде чем рвать — нужно зашить. Прежде чем будить — нужно выспаться самому.

Завтра съём. Может быть.

ГЛАВА 21. КОД ЖИЗНИ

На следующий день я собрал поклажу приговорённого: две чёрствые буханки, банку липкой тушёнки и флягу с остывшим чаем. Хлеб пах чужой кухней — тем запахом, который бывает, когда буханка лежит в пакете третий день и уже не помнит, что была тёплой. Тушёнка холодила ладонь сквозь жестянку. Чай во фляге булькал глухо, как вода в трубе, которую давно не прочищали.

Попросил отца вызвать машину. Нужно было сбежать на базу — туда, где вековые сосны гасят радиоволны, чтобы найти ответ на главный вопрос.

Как убить бога, не вступая в бой?

База встретила мёртвой тишиной. Снег здесь казался синим — не белым, не серым, а именно синим, как будто небо упало на землю и застыло. Воздух пах смолой, морозом и чем-то ещё — сладковатым, почти неуловимым, как запах того, что давно умерло, но ещё не забыло, как пахнуть.

Лишь сторож Семёныч, смешно загребая по сугробам короткими ножками в валенках, выбежал навстречу «Волге». Увидев меня на заднем сиденье, он замер, приоткрыв рот. Борода его заиндевела от мороза, а глаза стали круглыми, как у совы.

Я не стал тратить слова. Лёгкий ментальный импульс скользнул сквозь стекло машины. В сознании старика расцвело густое, тёплое чувство абсолютного покоя. Внушение легло мягко, без скрипа. Семёныч медленно, словно во сне, кивнул тяжёлой головой и побрёл к своему домику — греть спину о подтопок.

Я нырнул в холод дома первым.

Сухие берёзовые дрова занялись мгновенно, с тихим вздохом. Огонь заплясал в печном зеве, отбрасывая на бревенчатые стены изломанные, дёргающиеся тени — они напоминали мечущихся в ловушке насекомых. Из соседней сторожки я притащил два стёганных матраса, бросил их прямо на выскобленный добела пол. Раскинул руки крестом, впуская ледяной воздух под одежду.

И провалился.

Переход был не плавным. Не мягким. Тело перестало быть телом — на долю секунды я стал просто температурой. Просто точкой тепла, которая падает куда-то вниз, в густую, вязкую темноту, где нет ни пола, ни потолка, ни запаха смолы. А потом — рывок. Глухой. Внутренний. Будто кто-то поставил меня на ноги, не спрашивая, хочу ли я стоять. И я снова был. Но уже не на матрасе. Уже внутри.

Задача была одна: нейтрализовать Плешивого. Прямой удар невозможен — он сожрёт мою душу раньше, чем я успею замахнуться. Его волноводы боли защищены бронёй государственной системы. Лобовая атака — это самоубийство. А я уже умирал однажды. Хватит.

Я перебирал варианты, пока разум не обожгло озарением. Троянский конь. Вирус. Этот мир ещё не утонул в цифре, но информационные поля уже оплели его нервы невидимой паутиной. Мне нужно создать проходную пешку. Символ, который система пропустит через фильтры беспрепятственно. А внутри него будет гореть код, способный превратить ферзя обратно в пыль.

Я направил сферу внимания к Челябинску. К тому месту, которое теперь звенело пустотой. Вгляделся в линии — и увидел. От пропитанной кровью земли тянулись тончайшие серебристые нити. Едва уловимые, как паутинки в луче света. Они уходили к оврагу, где бульдозеры завалили братскую могилу мясом.

Здесь похоронили тех, кого выпил Плешивый.

Усилив сканер до предела, я заметил аномалию. Там, в мёрзлой глине, сплеталось нечто чужеродное. Хаотичный клубок нитей, похожий на опухоль. Приблизившись вплотную, я разглядел источник — макушку отрубленной головы. Волосы смёрзлись в кровавый панцирь, а над ними вибрировала эта серая, склизкая структура.

Никогда прежде я не видел ничего подобного.

Собрав волю в кулак так, что заломило зубы, я вошёл в состояние полной сенсорной депривации и нырнул внутрь этой слизи.

Дальше были только вспышки. Обрывки чужой киноплёнки, прожигающей сетчатку.

Заключённых выстроили на плацу. Утренний пар изо рта превращался в лёд. Скрипнули тяжёлые ворота. Вышел маленький плешивый человечек.

И мир выключили.

Ни звука. Ни света. Что-то другое. Что-то, для чего нет названия. Будто из реальности вынули стержень, на котором она держалась, и всё остальное — воздух, снег, дыхание, мысли — повисло в пустоте, не зная, падать или держаться.

Я не чувствовал тяжести. Не чувствовал давления на грудь. Я чувствовал — нити. Тысячи серебряных нитей, которые тянулись от каждого заключённого куда-то вверх, в серое небо. И все они — одновременно, без звука, без крика — начали рваться. Не лопаться. Не обрываться. Рваться — медленно, как рвётся ткань, которую тянут в разные стороны. С тихим, сухим треском, который я слышал не ушами, а кончиками пальцев.

Фигуры на плацу стояли. Не падали. Не кричали. Стояли — и пустели. Как окна, из которых вынули стёкла. Как комнаты, из которых вынесли мебель. Глаза открыты. Рты открыты. Но внутри — уже никого. Никого, кто мог бы закричать. Никого, кто мог бы упасть.

Первый заключённый шагнул на эшафот. Чёрные шлемы охраны внесли оцинкованный ящик. Плешивый обошёл помост кругом, втягивая ноздрями морозный воздух. Впитывая пространство. Он достал ритуальный топор. Древко испещряли руны, лезвие жадно блестело. И началось пиршество.

При каждом взмахе топора я чувствовал, как рвётся очередная нить. Не видел — чувствовал. Пальцами. Ладонями. Кожей. Каждая оборванная нить оставляла на моей коже след — тонкий, холодный, как царапина от льда. В носу встал густой, медный запах крови — настолько реальный, что я сглотнул железистый комок. Не привкус железа. Не медь. Кровь. Живая. Горячая. Та, которая пахнет не металлом, а жизнью, которая уходит.

Я видел, как последние искры сознания гаснут в глазах людей. Не стекают по щекам. Гаснут. Тихо. Как гаснет свеча, которую накрыли ладонью. Без дыма. Без треска. Просто — была. И нет.

Я сканировал, и мои собственные пальцы сжимались в кулаки — непроизвольно, как будто я сам держал топор. Во рту стоял привкус чистого спирта. Стерильный. Будто кто-то протёр лезвие перед тем, как рубить. Зубы свело — не от холода, а от того, что челюсть сжалась сама, без команды, и я не мог её разжать. В затылке — свинцовая пробка. А в челюсти — каменная скула, от которой ныли зубы.

Я выдернул себя оттуда рывком, едва не порвав собственные меридианы. Меня вырвало желчью прямо на половицы. Горячей. Горькой. С привкусом того самого вакуума, который я глотал в видении. Но структура нитей, опутавших голову в видении, отпечаталась в памяти. Она не отпускала.

Усилив астральный шуп, я погрузился в плетение одной отдельной линии. Сначала был хаос — набор бессмысленных штрихов, шум распадающейся материи. Потом пришло понимание. Это был чертёж. Алгоритм гибели. Так схлопываются ядра звёзд, так распадаются галактики на атомы.

Нужно было перемотать плёнку назад. Замедлить процесс гниения до кадра — и тогда станут видны числа. Геометрия. С чудовищным усилием, чувствуя, как трещит череп, я заставил рваные нити собраться в исходный код живого человека.

И понял.

Это был язык смерти.

Он состоял из миллионов вращающихся сфер. В основе каждой лежали знаки, похожие на древние, жестокие руны. Каждая сфера — слепок души. Каждая руна — ключ к её разрушению. Я погрузился в глубокий, тяжёлый транс, зафиксировав эту фантазмагорию. Не каждому дано увидеть, как пляшут знаки конца в самом сердце распада.

В этот момент я ощутил жжение на левой руке. Не боль — сухой жар. Взглянув мельком, увидел: зеркальный треугольник с тремя зрачками пульсировал тусклым багровым светом. Мой знак резонировал с обнаруженной структурой. Он узнавал алфавит убийцы. Подстраивался под него.

И тогда — запах.

Ни крови. Ни меди. Что-то другое. Что-то, что я помнил с берега озера. Из другой жизни. Из того дня, когда воздух стал гуще и тело отказалось идти дальше. Жжёная изоляция. Озон. Запах, от которого сводит скулы и хочется зажмуриться. Запах, который тело узнавало как чужой. Но очень старый. Настолько старый, что «чужой» переставало быть правильным словом.

Холод пополз по позвоночнику — не снаружи. Изнутри. Палец, холодный как лёд со дна колодца, провёл по хребту.

И следом за запахом — мысль. Не моя. Чужая. Острая, зазубренная, как осколок зеркала: «Он родился из тысяч душ, что я впитал в своё время... Будучи разрушителем планет и цивилизаций...»

Стоп. Откуда эти данные? Почему я слышу это голосом самого Плешивого?

Я был таким же палачом?

Ощущение было физическим. Словно я стою на табуретке с петлёй на шее, и кто-то упруго бьёт под колени. Сердце замерло. На долю секунды — просто замерло, как будто забыло, зачем бьётся. А потом заколотилось о рёбра, пытаюсь проломить грудную клетку. В висках застучало бешено. Не пульс. Не давление. Что-то третье. Что-то, что стучало в череп изнутри, как будто пыталось выбраться.

Я посмотрел на свои руки. На те самые, которые вчера сжимали чашку с чаем. На те самые, которые гладили маму по голове. И не узнал их. Потому что на долю секунды — на одну короткую, невозможную долю секунды — они были чужими. Большими. Тяжёлыми. Пахнущими не чаем, а пеплом. И я сжал их в кулаки. Сильно. До боли. Чтобы вернуть. Чтобы они снова стали моими.

И в этом сжатии — на правой ладони — отозвался знак. Тёплым покалыванием.

Кто я? Что я уничтожил своими руками?

Но времени на истерику нет. Мысль, пришедшая извне, таяла, оставляя лишь ядовитое эхо: «Код жизни... он всегда сплетается из нитей твоих собственных воспоминаний...»

Когда я очнулся, план кристаллизовался. Стал твёрдым и острым, как обсидиан.

Я лежал на матрасе и чувствовал, как план собирается внутри меня — не в голове, а в груди, там, где у взрослого человека солнечное сплетение. Сначала — лезвие в рукаве. Спрятать. Так, чтобы не нашли. Так, чтобы не заподозрили. Упаковать вирус в оболочку его любимого лакомства. Они проскользнут мимо его барьеров незамеченными. Потом — мина под

мостом. Тридцать лет лежит. Тридцать лет ждёт. И однажды — щелчок. И мост рушится. Не потому что мина злая. А потому что время пришло. Дать команду к взрывному размножению. Мои символы начнут расти внутри его сети, заполняя пространство, как плесень разъедает бетон изнутри — медленно, неумолимо, не спрашивая разрешения. И последнее — дверь. Ни приказ. Ни команда. Дверь, которую можно открыть. А можно не открыть. Каждую душу, которую он успел поймать в свою паутину. Каждую нить, которую он оборвал. Каждую искру, которую он погасил. Все получают инъекцию антидота. Шанс на перерождение. Не гарантию. Шанс. Потому что свобода — это не подарок. Это выбор. И я не имею права выбирать за них.

Каждый палец — нить. Каждая нить — задача. И я не знаю, за какую тянуть первой. Потому что если потяну не за ту — порвётся та, что нужна.

Это будет укол. Молниеносный. Невидимый. Хирургически точный.

Резкий толчок в плечо.

Я вернулся в тело так стремительно, что лёгкие заболели от нехватки кислорода. Первый запах, который ударил в ноздри, — дым. Берёзовый. Сухой. Живой. Запах печи, которая горела всё это время, пока меня не было. Доказательство, что мир не закончился. Что половицы ещё здесь. Что огонь ещё горит.

Надо мной нависал Семёныч. Тряс за плечи так, что зубы лязгали.

Глаза старика были безумными, белыми от ужаса. По глубоким морщинам катился пот, несмотря на январский мороз за окном.

— Ты... ты не дышал! — сипел он. — Лицо всё синее стало! Я думал, всё, преставился хлопец...

На запястье сторожа, выглянувшем из-под рукава, я заметил старый шрам. Белёсый. Длинный. Не свежий — тот, что побелел давно и уже не болит. Просто рубец на коже, который видно, когда рукав задирается. Семёныч дёрнул рукавом. Спрятал. Не сказал ни слова. Но в его глазах мелькнуло что-то. Не страх. Узнавание. Как будто он ждал, что кто-то когда-нибудь увидит. И дождался.

Я взглянул на карманные часы отца, лежавшие на столе: прошло ровно восемь часов. Восемь часов — и ни секунды больше. Как будто время ждало, пока я вернусь.

— Всё в порядке, Семёныч, — голос прозвучал хрипло, горло саднило. — Теперь я знаю, что делать. Осталось воплотить этот план жизни в новую реальность.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.